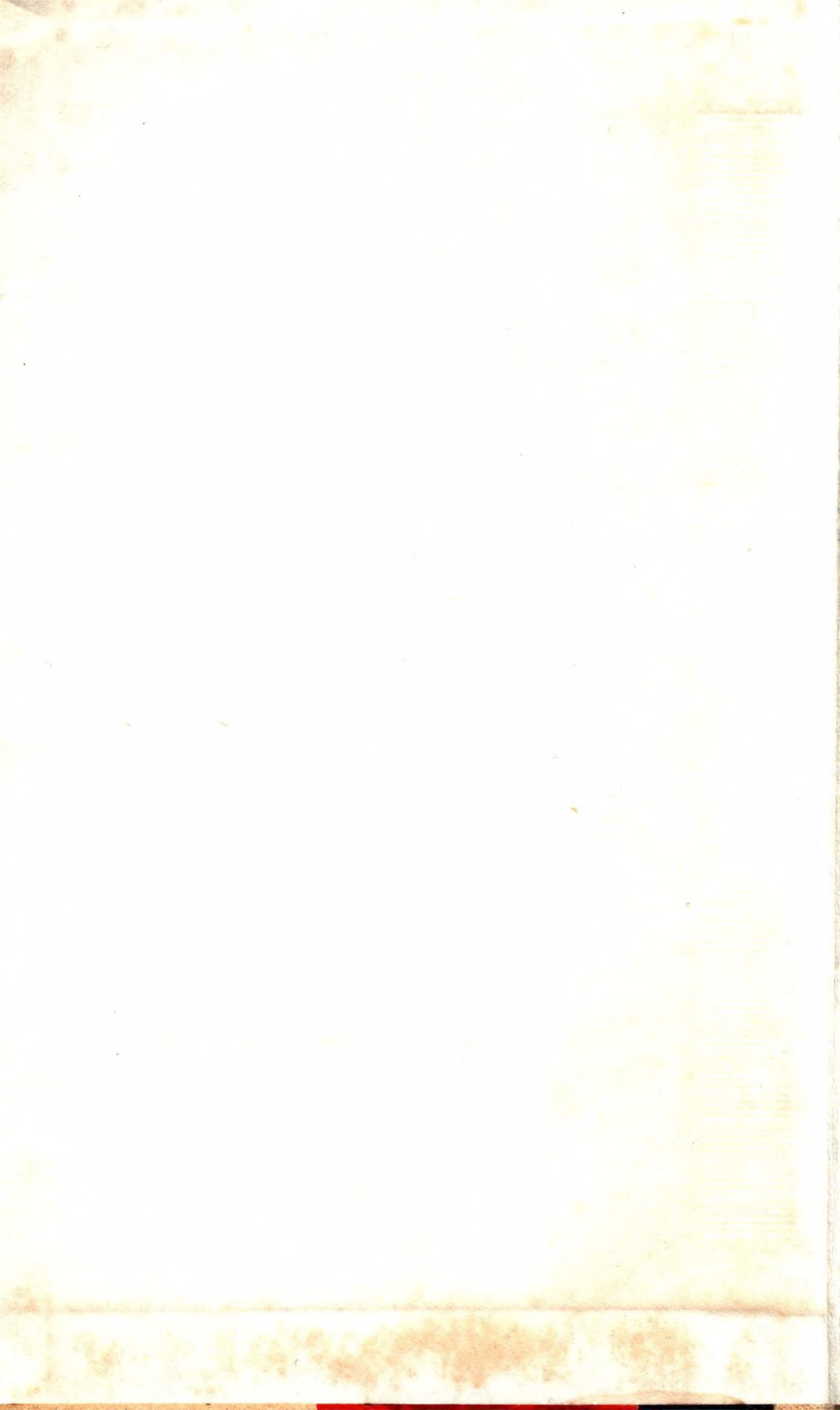

ОТ ГОМЕЛЯ ДО ЭСТРЕМАДУРЫ
Я. ДРОБИНСКИЙ







Я. ДРОБИНСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЕЛАРУСЬ"
МИНСК 1971

Дробинский Я.

От Гомеля до Эстремадуры. Мн., «Беларусь», 1971.
192 с. 60 000 экз. 48 к.

Эта книга о жизни и борьбе славного сына белорусского народа Николая Дворникова. В середине 30-х годов он был секретарем ЦК комсомола Западной Белоруссии. Погиб в 1938 году в Испании, сражаясь на стороне республиканских войск против мятежников.

1-6-4 / 61-71 9(С)26 Д 75

Яков Израилевич Дробинский
От Гомеля до Эстремадуры

Издательство «Беларусь» Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по печати. Минск, Ленинский проспект, 79.

Редактор В. Султанов. Художник Н. Прокопенко. Художественный редактор А. Труханова. Технический редактор З. Сень. Корректор Н. Лупсякова.

АТ 12851. Сдано в набор 11/III 1971 г. Подп. к печати 27/VIII 1971 г. Тираж 60 000 экз. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 10,1. Уч.-изд. л. 10,53. Зак. 674. Цена 48 коп.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по печати. Минск, Красная, 23.

ГЛАВНОЕ действующее лицо этой книги — Николай Дворников — не вымышлено. Комсомолец второй половины 20-х годов, он впитал в себя лучшие революционные традиции своих предшественников — комсомольцев периода гражданской войны: глубокую веру в правоту ленинского учения, готовность к жертвам, революционный романтизм.

Дворников шел туда, где была борьба. Когда в одном из районов на Гомельщине бандиты убили секретаря райкома комсомола, он без колебаний стал на его место. В 30-х годах он «Максим», «Герасим» — вожак революционной молодежи в Западной Белоруссии, один из руководителей вооруженного восстания белорусских крестьян в деревнях Кобринского уезда летом 1933 года. Николай Дворников был организатором исполнения приговора партии по ликвидации опасного провокатора Стрельчука, в которого так отважно стрелял С. О. Притыцкий в зале Виленского окружного суда в январе 1936 года.

В 1936 году вспыхнула гражданская война в Испании, и Дворников едет туда. Теперь он, «Станислав Томашевич»,— доброволец республиканской армии, комиссар польского добровольческого батальона имени Палафокса, потом командир роты в польской интернациональной бригаде имени Ярослава Домбровского.

Н. Н. Дворников пал в горах Эстремадуры, преграждая путь фашизму, ценою собственной жизни подтвердив великую силу пролетарского интернационализма в борьбе против империализма и реакции. Довольно продолжительное время его имя оставалось забытым.

Впервые в историко-мемуарной литературе Николай Дворников был упомянут в 1958 году в воспоминаниях С. О. Притыцкого «За счастье трудового народа» и В. П. Ласковича «Вооруженное выступление крестьян в деревне Новоселки», помещенных в сборнике воспоминаний бывших членов КПЗБ «У суровыя гады падполля», и в мемуарах С. Г. Анисова.

Тогда же Максим Танк, хорошо знавший Дворникова по совместной работе в Западной Белоруссии, попросил меня написать о нем свои воспоминания. Вместе со статьей Г. Богена они были напечатаны в журнале «Полымя» № 4 за 1959 год.

Были потом и другие публикации.

На родине Н. Н. Дворникова в городе Гомеле его биографией заинтересовался Я. И. Дробинский, автор этой книги. В начале 30-х годов он по характеру тогдашней своей работы знал некоторых деятелей КПЗБ, в том числе и Дворникова. Я. Дробинский разыскал родных Николая Дворникова: мать — Марию Антоновну и сестру — Екатерину, встречался с его друзьями и товарищами по революционному подполью в Западной Белоруссии и по гражданской войне в Испании, проживающими в ряде городов Советского Союза, по крупицам восстанавливал детали биографии героя книги.

Теперь она ложится на стол читателя.

Николай Дворников погиб на поле брани, отдав людям яркую, как пламя, жизнь. Пусть же она служит примером для нашей молодежи, воодушевляет ее на новые подвиги во имя коммунизма.

Н. С. ОРЕХВО,
бывший член Центрального руководства КПЗБ



Часть первая

КОЛЯ

Передо мною маленькая, немного пожелтевшая фотография. На ней изображение паренька в темной рубашке и кепочке. Запоминаются острые, пытливые глаза, детская припухлость губ, строгое выражение лица. На обороте написано: «Личность Николая Дворникова, изображенная на обороте, удостоверяется. Зав. школой (подпись)».

Стоит хорошенько всмотреться в фотографию, чтобы понять — жизнь этого мальчика не могла быть обыкновенной.

Бережно храню я еще книгу Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» 1929 года издания с надписью вверху: «Дворнікаў». Ее подарила мне мать владельца книги Мария Антоновна.

Больше ничего нет.

После людей остаются кроме их дел письма, дневники, документы, личные вещи. Иногда ученические тетради, конспекты... Очень часто они могут рассказать о многом.

Здесь особый случай, непохожая на обычную судьба.

Фотографии Николая Дворникова других лет, правда, потом нашлись. Больше ничего не осталось. Единственный предмет, который держали его руки — книгу Ф. Энгельса,— просят у меня сотрудники музеев Гомеля и Бреста. Мне трудно с ней расстаться, но я отдам ее в один из них.

Взамен нее останется эта книга. Как она писалась?

Началось все с того, что я рассказал о жизни и делах Николая Дворникова на «Гомсельмаше».

Из этой заводской проходной почти сорок лет назад в большую жизнь вышел в простой рабочей кепочке невысокий синеглазый парень. Вышел, чтобы стать строителем новой жизни, вожаком комсомольского подполья Западной Белоруссии, первым комиссаром интернационального батальона Палафокс в Испании. Отважный юноша, умелый конспиратор, он с боями прошел от Гомеля, через коммунистическое подполье

Западной Белоруссии до Мадрида и под знаменем Испанской республики до Эстремадуры. Первыми услышать, как прошел свой жизненный путь их питомец, было неотъемлемым правом сельмашевцев.

Напряженно слушали меня молодежь, ветераны завода.

Начал, помнится, так:

— О нем есть статьи в газетах, в республиканских журналах «Полымя» и «Беларусь». Подготовлен очерк для «Немана».

Я тогда не знал еще многого. Не был знаком с его друзьями, не слышал их волнующих воспоминаний...

Вася Борташевич — большой белесый Вася, заместитель секретаря комитета комсомола — сказал:

— Что статьи, очерк! Надо рассказать о его жизни.

И Стась Прокопенко, и Света Москалева, и многие старики сказали:

— Такая жизнь! Книгу о нем написать надо.

Книгу... В душе у меня давно зрела эта мысль, но я понимал, как это трудно. Наконец не выдержал и сказал:

— Ладно, постараюсь.

Сказал и испугался. Но слово было дано. Это было в сентябре 1965 года.

С этого времени стал собирать материалы. Вначале их просто не было. Все: тетради, письма из Парижа, два письма из Испании, даже книги — все в тот день, когда немцы заняли Гомель, было сожжено. Мать Дворникова — шестидесятилетняя Мария Антоновна — осталась в городе с лежавшим без движения больным мужем Николаем Иосифовичем. Дочь, зять и младший сын Вася были в армии.

Соседи пришли и сказали:

— Сожги, Антоновна, все сожги, а то и мы пострадаем. Твой не просто большевик. Он революцию в других странах делал. Он этих фашистов в Испании бил. Сожги обязательно.

И она, роняя слезы, жгла. Жгла заветные письма из Парижа и Альбасете. Жгла книги, которые держали его руки. На огне переворачивались, превращаясь в пепел, страницы «Овода», конспекты...

Соседи стояли рядом и смотрели. А она жгла. Осталась только одна фотография, где он, шестнадцатилет-

ний, не по годам сурово смотрит в свое будущее. Рядом с ним и ее младшенький — Вася. Утаила эту карточку Мария Антоновна, спрятала на груди. А когда все ушли, долго плакала над ней. Беседовала со своим Колей: «Видишь, Коленька, до чего дошло, видишь?..» Но Коля смотрел хмуро и невозмутимо: «Ничего, пройдет, дескать, и это, мама».

Так примерно было написано мною в небольшом очерке «О жизни Дворникова», опубликованном в журнале «Неман» в мае — июне 1966 года.

А теперь я должен рассказать о том, что произошло после этой и других публикаций.

Я находился в Минске и собирался в Гродно, когда мне позвонила жена: «Марии Антоновне хуже». Действительно, последние недели она еле держалась.

— Екатерина Николаевна приходила и много раз звонила. Мария Антоновна боится умереть, не поговорив с тобой,— пояснила жена.

Я немедленно выехал в Гомель и сразу же отправился к Дворниковым. Мария Антоновна, маленькая, ёще более похудевшая, лежала одна в своей комнатке. Дышать ей было трудно.

— Хорошо, что приехал,— подняла она ко мне совершенно побелевшее лицо.— Думала, помру, а мне еще с тобой поговорить надо. Ты не обижаешься, что я тебе, как сыну, «ты» говорю?

— Мне это приятно, Мария Антоновна.

— Вот лежу. Раньше,— больная указала глазами на Екатерину Николаевну,— она все требовала: «Полежите, мама, полежите». Не хотелось тогда, а сейчас...

— Не надо об этом,— попросила Екатерина Николаевна.

— Лягу скоро, видно, навсегда.

— Может, открыть форточку?

— А ты не боишься простуды?

Я открыл окно, и комната наполнилась запахами цветов.

— Веришь, свету не рада. Ни солнцу, ни зелени... Иди, Катя, в сад. У тебя там работы много.

Екатерина Николаевна вышла. Мария Антоновна помолчала, потом сказала:

— Умираю, друг, нет больше сил.

— Да что вы, Мария Антоновна, все о смерти.

— А ты слов не бойся. От слова не умирают. Уже пора умирать, и мне это не страшно. Мне теперь страшнее эта жизнь с уколами, камфарой, порошками, судном. Я так не привыкла. Восемьдесят шесть лет прожила и все трудилась.

Поверх одеяла лежали маленькие, сухие, много поработавшие руки.

— Детей вырастили, внуков, правнуков,— продолжала больная.— На жизнь не могу пожаловаться.— И вдруг глаза ее молодо сверкнули: — Помнишь, как Базаров умирал у Тургенева в «Отцах и детях»? Смело! А ведь он молодой был и талантливый.

Сколько раз я встречал эту женщину, и каждый раз она меня удивляла.

— Мария Антоновна, вы сильнее Базарова. Сделали больше. И еще сделаете немало. На вашей улице живет человек — он на двадцать лет старше вас. Почему бы вам не прожить еще двадцать лет?

Она чуть улыбнулась:

— Что ж, поглядим через двадцать лет. Хорошо?..

— Я согласен.

— А теперь слушай. Ты материал на книгу сдал?

— Сдал давно. Но сейчас забрал. Надо кое-какие поправки сделать.

— Хорошо, очень хорошо,— сказала она,— это мне и надо. Дай руку, я сяду.

Она приподнялась. Глубоко подышала. Потом я помог ей снова лечь.

— Так материалы, значит, у тебя? Мне тоже в них кое-что поправить надо. В рукописи вот сказано: когда немцы вошли в город, ко мне пришли соседи и посоветовали сжечь книги, письма и документы Николая. Восемьдесят шесть лет прожила честно, хочу и после смерти стыда не иметь. Было не так. Как могли прийти ко мне соседи, ты подумай? Разве они могли что знать? Ведь никому не говорила. Понимаешь — молчок, могила. Как я могла сказать? Спрашивали после отъезда, и я отвечала: не знаю, работает где-то. Пишет редко, мол, знаете, как нынешние. В тридцать пятом он говорил приятелю Кравцову: «В институте внешней торговли учусь». И я тоже говорила, когда спрашивали: «В каком-то внешнем институте». А после тридцать седьмого и спрашивать перестали... Ну, а когда вошел

немец, мы в подполе были. Старик мой, Николай Иосифович, болел. Катя с мужем и Вася на фронте были. А куда я со старым больным денусь? Вышла во двор и вижу: соседи бегают, рвут бумаги, жгут их. Ну и я тоже. Все пожгла — и письма, и книги... Вот как было. Но это еще не главное. Большой камень у меня на душе. Хочу освободиться...

Об этом «камне» я расскажу несколько позже.

Документов, значит, не было. Но остались люди. Живые, те, которые знали его в детстве, с кем делился он своими отроческими мечтами, строил «Гомсельмаш», создавал комсомольские организации.

Живы те, кто был с ним в Западной Белоруссии и буржуазной Польше в суровые дни большевистского подполья. Нашлись люди, которые шли с Николаем Дворниковым по горячим пескам Арагонии, мерзли вместе с ним ледяными ночами у Вильямайора. Они разбросаны по всей стране и за ее рубежами. Живут в Москве и Ленинграде, в Варшаве и Ржешеве, в Минске, Турове, Житковичах, Сморгони, Гродно, Вильнюсе, Бресте и десятках других городов.

Мне пришлось писать им, ездить, беседовать с этими людьми. И как только я произносил имена и фамилии: Николай Дворников, Герасим, Максим, Роберт, Станислав Томашевич — теплели глаза бывших участников большевистского подполья. Ветераны испанской войны с любовью вспоминали каждый его шаг, каждое слово. Они нашли статьи Николая Дворникова, написанные и опубликованные в Испании и Варшаве, его фотографии.

Так открылась мне биография Николая Дворникова: товарища Герасима в большевистском подполье в Вильно, товарища Максима — руководителя Кобринского восстания, Роберта и Станислава Томашевича — испанского добровольца, вместившихся в одну короткую, огненную жизнь.

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Более тридцати лет прошло со дня гибели Николая Дворникова в далеких горах Эстремадуры. Прожил он мало. Он мог бы жить и сегодня, потому что был мо-

ложе многих из нас. Но кипучий характер этого человека, принцип жить и работать только на переднем крае определили его судьбу.

Если яркая личность выражает время, то этот небольшой коренастый паренек выразил его великолепно. Родившись в 1907 году, он вступил в комсомол в двадцать лет. В 1929 году был принят в партию. Он мало жил — много сделал. Дворников поработал на ликвидации Горелого болота, где квакали лягушки, в центре города Гомеля. Он возводил мост через Сож, строил Дворец культуры железнодорожников и гигантский для того времени завод сельскохозяйственных машин— «Гомсельмаш». Он создавал комсомольские организации и колхозы в деревне, бригады ударников в жлобинских железнодорожных мастерских, организовывал забастовки в Западной Белоруссии, воевал на стороне республиканцев в Испании.

Оттуда он не вернулся.

Первые сведения о Николае Дворникове были почерпнуты мною из газет. Перелистывая подшивку «Гомельской правды» за 1959 год, я прочел любопытные строки. В небольшой заметке сообщалось, что Дворников-Томашевич погиб в Испании, работал в КПЗБ, мать его Мария Антоновна живет в Гомеле на улице Петровского, возле стадиона «Локомотив».

«Томашевич?..» Это имя сразу же всколыхнуло мою память. Много лет тому назад мой друг Коля Масловский привел ко мне на квартиру невысокого коренастого парня и сказал:

— Томашевич Стась.

Затем коротко пояснил:

— Работает со мной.

Масловский работал в коммунистическом подполье Западной Белоруссии. И хотя лицо паренька показалось мне знакомым, я не спросил у него, кто он. Парней «оттуда» спрашивать об этом не было принято.

Прошло столько лет — и вот опять эта встреча. Снова вспомнился мне этот юноша, его взгляд, весь его облик.

Написать или позвонить бы «Алесю» — Коле Масловскому. Но его нет... Однако в Минске живут другие

товарищи Дворникова, работавшие с ним в подполье, в КПЗБ. Я написал Паше Павлову. Собственно, Павловым его звали раньше, когда он был членом ЦК Коммунистической партии Западной Белоруссии и находился в подполье. А когда западные районы Белоруссии воссоединились с БССР, я узнал настоящее имя Павлова — рабочего парня, железнодорожника из Витебска — Семеников Иван Федорович.

Но от старого имени отвыкнуть не могу до сих пор. Пишу ему по-прежнему: Паша.

«Дорогой Паша,— написал я ему тут же, за библиотечным столиком,— только что узнал: живут в Гомеле мать Стася Томашевича — Дворникова Мария Антоновна и сестра его Екатерина Николаевна. Знаете ли вы об этом? Не тот ли это Стась Томашевич, которого более тридцати лет назад приводил ко мне Масловский?»

Ответ получил быстро. «Это хорошо,— писал Семеников,— что ты нашел мать Николая Дворникова. Мы ничего о ней не знали. Как она живет? В чем нуждается? Может, ей надо в чем-либо помочь? Знает ли она о судьбе сына? Пожалуйста, займись этим. Твое письмо напомнило мне многое. Дворников, наш Стась, снова встал перед моими глазами. Этот замечательный человек, боевой подпольщик, друг моих славных и трудных дней, не забыт, он в наших сердцах».

Улица Петровского невелика, и скоро я подошел к домику под номером 53. Простой деревянный, серый, каких много. Но то ли от чисто промытых, сияющих окон, то ли от синих ставней он показался мне каким-то голубым, по-особому приветливым.

С волнением переступаю порог, вижу опрятные комнатки, знакомлюсь. Вот мать Николая Дворникова, Мария Антоновна. А это сестра, его первый друг и участник детских забав — Екатерина Николаевна.

Долго не знали они о судьбе сына и брата. Ведь там, где он работал, адресами не обменивались. Даже многие близкие друзья не знали его настоящей биографии. В июне 1963 года в литовской молодежной газете была опубликована статья Ф. Пиришко. Заканчивая ее, автор писал: «Память о Николае Дворникове, сироте, детдомовце, выдающемся вожаке молодежи и руководителе революционного движения в нашем крае, никогда не угаснет».

А какой же он сирота?..

Матери Николая Дворникова было уже восемьдесят два года. Маленькая, энергичная, быстрая.

— Трудно мне,— жалуется Екатерина Николаевна,— уж как я с ней воюю! Всю домашнюю работу сама норовит сделать. У тебя, говорит, своя работа.

Екатерина Николаевна по специальности врач-бактериолог.

Мария Антоновна удивляется:

— Как же я без дела жить буду?

— А ты читай,— советует ей дочь.

— Это само собой. Без книги как же можно?

Почти пятьдесят лет было Марии Антоновне, когда она ликвидировала свою неграмотность. Надоумил он, Коленька: «Ты ведь, мама, у нас такая умница, министерская голова, а в потемках живешь...»

— Все Коленька,— нежно говорит Мария Антоновна.

А я сижу, слушаю и восхищаюсь этой старой женщиной. У нее живой ум, острый и ясный взгляд. А пережито сколько!

Екатерина Николаевна говорит:

— Коля был весь в маму.

Я вспомнил о поручении Павлова.

— Как живете, Мария Антоновна? В чем нуждаетесь?

Лицо ее посуровело.

— Ни в чем не нуждаюсь. Одного хотела бы, чтобы имя Николая нашего забыто не было. Прожил он мало, и ни одного дня для себя. Пусть хотя бы люди имя его узнали.

До глубокой ночи засиделся я в этом домике, слушая мать и сестру.

На другой день поехал в Минск. Встретился с теми, кто принимал в ряды партии Николая Дворникова — с бывшими членами подпольного ЦК КПЗБ. Поговорил с «Петром» — Николаем Семеновичем Орехво, Иваном Федоровичем Семениковым, героем коммунистического подполья Сергеем Осиповичем Притыцким, с бывшим членом ЦК комсомола Западной Белоруссии Александрой Ивановной Федосюк. В те годы я знал ее, как Дашу, а в подполье она была Зязюлькой...

— Какая у нас Зязюленька появилась! — восклик-

нул один товарищ, увидев ее маленькую, тоненькую на первом съезде КПЗБ в 1928 году.

Так она и осталась для всех Зязюлькой.

Встретился я тогда с Максимом Танком, с хозяйкой явочной квартиры Саррой Левиной, с деятелями коммунистического подполья Лазарем Шайковским, Федором и Раисой Пиришко, связной «Ирой» — Басей Кнубовец, Сергеем Анисовым, Василием Ласковичем и многими другими его друзьями, товарищами по борьбе.

А потом, когда журнал «Маладосць» с очерком о жизни Николая Дворникова оказался в Польше, откликнулись товарищи С. Н. Малько, Ю. И. Левин, Л. А. Рудницкая и другие его друзья и единомышленники, которые были с ним рядом в те суровые годы.

Прошло уже немало времени с тех пор, как опубликовал я первую статью о Николае Дворникове, а письма идут и идут.

Родился Николай Дворников в Залинейном районе Гомеля, на Московской улице. Ему было пять лет, когда умер отчим отца и оставил им несколько десятин земли. Землю продали и купили домик на улице Петра и Павла — нынешней улице Петровского. При домике был небольшой участок, на котором разбили огород, посадили сад. Было где приложить руки трудолюбивой Марии Антоновне и ее детям.

Был Коля небольшой, вихрастый, любил подраться, иногда приходил с синяками. Объяснял отцу:

— Роста я небольшого. Они думают, что меня можно задирать, а я даю сдачи.

Отец молчал — значит, понимал сына. Мальчишка очень любил птиц, строил скворечни. Рос любознательным, рано пристрастился к чтению. Брать пример было с кого: здесь жили книголюбы. «В доме Дворниковых любили книги. Цветы и книги царили в нем»,— вспоминает друг детских лет Коли Саша Губанов.

В те времена получить книгу бесплатно нельзя было. Екатерина Николаевна рассказывает:

— Открылась в городе библиотека. Чтобы записаться, нужны были деньги, а они были у мамы. У нее каждая копейка на учете. Семья не маленькая — семь ртов, а отец чернорабочий, носильщик. И мама трати-

ла много сил, чтобы свести концы с концами. Держала квартирантов, готовила им обеды. Как тут приступиться к деньгам? Но деваться некуда, сказала.

— В библиотеку? — переспросила мама, вздохнув.— Ну что ж, это дело нужное. Сколько надо?..

ОТЧИЙ ДОМ

Рано начинался день в домике на улице Петровского. Первым, с рассветом, поднимался отец. Сутуля широкие плечи, осторожно, чтобы не потревожить спящих, ступал на половицы. За ним шла Мария Антоновна. Сдерживая свой бас во время разговора с женой, он брал с собой завтрак и уходил. Обед ему носили Катя или Коля.

Приходил с работы поздно, всегда спокойный, уравновешенный. По субботам читал вслух какую-нибудь книгу, и это было праздником. Иллюзион, как тогда называлось кино, стоил 8—10 копеек. Вход в парк, в котором играл оркестр добровольной дружины,— 12 копеек. Пускали в парк только «чистую» публику — дам в шляпках, мужчин в котелках.

— Я не помню,— говорит Екатерина Николаевна,— чтобы мы когда-нибудь пошли в кино. Нашим «иллюзионом» были отцовские чтения. Читал он хорошо, тихо, но выразительно. Насколько помню, люди в этих книгах были добрые и благородные. Большое впечатление произвела на нас сказка, в которой крестьянин бросается в пасть волку, чтобы спасти женщину с малыми детьми. На чтения собирались соседи. Помню, на столе ровно горит керосиновая лампа. За столом отец в очках с проволочной оправой, а вокруг мы: мама, я, Коля, соседи. Коля смотрит отцу в лицо. Такая затейливая сказка, такие чудесные слова слетают с его губ, складываясь в причудливую историю, что не оторвешься.

Старший Дворников был в ту пору носильщиком, потом грузчиком на товарном дворе.

— Было это вскоре после революции,— продолжает Екатерина Николаевна,— проворовался кладовщик, поставили другого. И у него тоже неладно. Начальник

на собрании и говорит: «Неужели нет у нас на товарном дворе честного человека?» Тогда один встал и сказал: «Самый честный у нас — это Николай Иосифович Дворников». «А какое у вас образование, товарищ Дворников?» (Это было уже после революции, и начальник грузчикам «вы» говорил). «Церковноприходскую окончил,— говорит отец,— а от склада увольте». А люди говорят: «Почему — увольте?» Так стал Николай Иосифович заведующим складом и работал в этой должности уже до конца своих дней.

В семье трудились все. Каждый знал свое дело. Коля перед школой воды наносит. Дрова колол тоже он, потом, после школы. Вместе с Катей они пасли на выгоне корову.

— Ах, эта корова! Как она нас мытарила,— вспоминает Екатерина Николаевна.

А вообще, благодаря твердой воле Марии Антоновны в домике на улице Петровского царил порядок. Жизнь скрашивали книги и уважение, с которым в этой семье относились друг к другу.

Друг Коли, Саша Губанов, ныне здравствующий в Турове пенсионер, человек, с детства полюбивший белорусский лес и посвятивший ему жизнь, писал мне:

«Вот я сейчас вспоминаю семью Дворниковых и думаю, что если интеллигентность определяется не образованием и характером труда, но и другими признаками, свидетельствующими о высоких моральных качествах, богатом духовном мире, культурных навыках в отношениях внутри семьи, к другим людям, то супруги Дворниковы были интеллигентными людьми в самом высоком смысле этого слова».

Позже Александр Яковлевич говорил:

— Представьте себе обычный день, после того как сделаны уроки. Дети и все взрослые накормлены, все работы по дому сделаны. Подготовлена на завтра вода, наколоты дрова, корова отведена в стойло. Хозяйка дома ушла по делу, и наступил блаженный час чтения. Катя забирается с ногами на сундук. Красивая, белокурая, она вся в книге. Рядом с ней можно разговаривать, стучать, петь. Она не услышит. Коля тоже читает, но он должен уединиться. Если тепло, то в беседку. Прохладно — на чердак. А если в квартире, то где-нибудь в укромном уголке, где никто бы не мог ему

помешать. Он не просто читает — живет в эти минуты жизнью героев. Вместе с ними радуется, страдает, воюет, побеждает и терпит поражения. «Человек — или раб? Все — или ничего!» — восклицает Коля вместе с Оводом. «Делай — или погибай»,— говорит вместе с героем Конрада Мартерасом.

Потом, через много лет, в Испании вспомнит он этот лозунг. Воплотит его в жизнь, действуя и погибая. А пока он увлекается похождениями Шерлока Холмса, Ната Пинкертона, Ника Картера. Скоро эти книжечки сменятся «Хижиной дяди Тома» и «Оводом».

«Овод» вошел в жизнь Коли Дворникова навсегда. Он читает рассказы Джека Лондона и Максима Горького, «Дон Кихота» и снова возвращается к «Оводу».

Эта книга привила мальчику ненависть к религии. Он начинает ходить в кружок «Безбожник». По вечерам доказывает маме, что нет никакого бога. В беседе с Катей заявляет: «Жить надо только как Овод, или,— рубит он рукой,— совсем не жить!»

Наконец он открывает для себя Лермонтова. Очарованный музыкой и глубиной мысли его стиха, небольшой худощавый мальчишка ходит и шепчет: «Что ищет он в стране далекой...»

Пройдут годы, и другие очарованные мальчики и девочки будут спрашивать, почему ему так не сиделось, что он искал в чужих, далеких странах?..

Приближалось лето. Наступали каникулы. Родственники, знакомые мальчики и девочки из ближайших деревень разъезжались. Катя и Коля уезжали в гости в деревню к бабке — матери отца.

Поезд к Речице подходил ночью. Бабка Домна уже ждала их. Было темно, свежо и немного таинственно. Суетилась, тиская внуков, бабка. Сонно шлепая губами, вздыхала старая лошадь. Невыспавшиеся, укладывались они в телегу. И, лежа на душистом сене, смотрели на далекие звезды. Лошадь не спеша трусила. А вокруг был чудесный, новый для них мир. Прошло много лет, но до сих пор с таким наслаждением вспоминает это время Екатерина Николаевна.

— Дома мы были работниками, а там — детьми,— говорит она.

День-другой Коля ходил притихший, наслаждался тишиной, красотой окружающего мира. Он любил де-

ревню, мечтал: «Вырасту — в деревне дом построю, жить здесь будем».

В 15 лет Коля Дворников поехал в деревню уже не в гости. Гордо вышагивал он осенью рядом с подводой, на которой лежали заработанные им мешки картофеля и ржи. А через год уже повез с собой в деревню брошюру о продналоге — то, что тогда особенно интересовало крестьян. Маленький, вихрастый, он разъяснял им политику партии по отношению к крестьянству. И если кто-либо из озорников пытался над ним подтрунивать, сельчане дружно одергивали:

— Ты этого хлопца не трожь. У него тут,— показывали они на подошву лаптя,— больше, чем у тебя в голове. Крой, Николай, не слушай их.

— Комиссар растет,— говорили между собой бородачи.

В августе 1965 года в доме Дворниковых было особенно оживленно. Съехалась семья: Василий Николаевич с женой и детьми из Алма-Аты, внуки и правнуки из Ленинграда и Минска. Как обычно, говорили о Николае. Василий Николаевич вспоминал, как Коля помогал ему писать первую корреспонденцию в «Ленинские искры».

— Это же очень просто! Пиши как думаешь,— учил он.

Я вслух думал, а он писал. Потом прочитал.

— Хорошо?

Я смутился: неплохо. «Ну вот и подписывай». Так я стал корреспондентом.

Зашел разговор о Губанове.

— Тянулись они друг к другу,— продолжал Василий Николаевич.— Как встретятся — не наговорятся. Помню, легли мы спать: я с Колей на одной кровати, Саша на другой. Долго говорили, под их разговор я и уснул. Проснулся среди ночи, а они все говорят.

— Единственный человек, с которым дружил Коля и делился самым сокровенным, был Саша Губанов,— подтвердила Екатерина Николаевна и добавила: — Имейте в виду, Саша сам по себе личность глубокая, тоже человек своей мечты. С детства посвятил себя лесу. Живет он сейчас в Турове. Уже на пенсии. Вырастил там замечательную тополевую рощу. На берегу Припяти разбил сквер, завел в Турове орехи.

Я написал Александру Яковлевичу письмо и, получив ответ, выехал в Туров. Это была интересная встреча. Именно таким я и представлял себе близкого Николаю Дворникову человека.

К этому времени в Туровскую библиотеку поступил журнал «Неман» с очерком о Дворникове. И туровчане, которые очень любят свою библиотеку и музей, узнали, что в их городке проживает друг Николая Дворникова.

Александр Яковлевич популярен в Турове. Его избрали председателем Туровского товарищеского суда.

— Между нами говоря,— сказал Александр Яковлевич,— я за все эти годы не провел ни одного процесса.

Я посмотрел на него.

— Не было необходимости. У нас замечательные люди, я бы сказал, воспитанные.

Молодежь попросила меня рассказать о Дворникове. И в тот же вечер в Туровском Дворце культуры было назначено собрание. Скажу прямо, я этого не ожидал: более четырехсот мест Дворца было занято. Многим места не хватило, и люди стояли у стен и между рядами. Но самое главное — как они слушали! Они ловили каждое произнесенное в этом зале слово.

Я думал: «Ну что им, молодым парням и девушкам из Турова, до этого незнакомого паренька, начавшего жизнь в Гомеле и окончившего ее в коричневых горах Эстремадуры? Что им — дояркам, механизаторам, полеводам, молодым медикам из местной больницы — до него?..» Но, очевидно, жизнь, если она прожита честно и целенаправленно, притягивает. В каждом молодом человеке, может не всегда осознанно, живет мечта прожить свои годы красиво. Молодежь тянется к жизни большой и чистой.

А на другой день мы сидели с Александром Яковлевичем в красивом сквере над Припятью. Старики зовут его губановским, а молодежь просто наслаждается в нем, не зная и не очень интересуясь, откуда он взялся. Будто всегда был здесь, как всегда была Припять, автомашины, пароходы, радио.

Появился этот сквер так.

Громоздился над Припятью брошенный всеми, заваленный щебнем пустырь. Пришел Александр Яковлевич к председателю райисполкома и спрашивает:

— Думаете ли вы что-нибудь строить на этом месте?

— Нет,— ответил тот,— в плане у нас ничего не предусмотрено.

— Тогда разрешите, мы на нем разобьем сквер.

— Пожалуйста, мы только спасибо вам скажем.

На другой день Александр Яковлевич пришел на этот пустырь со своими сотрудниками — он тогда главным лесничим Туровской дачи был,— и дело заспорилось. Потом включились в работу жители Турова, и выросла над Припятью красивая роща. Раскинулись над рекой липы, ясени, разбросали свои ветки клены, зазеленели тополя.

И вот мы сидим здесь, а легкий ветерок обвевает нас запахами свежескошенных трав. С реки доносятся гудки пароходов, тянут баржи катера, идут плоты с лесом.

Александр Яковлевич рассказывает:

— С Колей Дворниковым я подружился, когда еще только формировался его характер. Это были двадцатые годы. Я и мои две сестры учились в Гомеле. Отец работал багажным кассиром, семья наша проживала на станции Уза. Для меня и сестер отец снял комнатку в маленьком домике Дворниковых. Здесь я и познакомился с Колей. Он был года на два моложе меня, но это не мешало нашей дружбе. Я не был избалован друзьями. А Коля был не по летам серьезен, вдумчив и очень впечатлителен. Дружба с одноклассниками у него что-то не ладилась. Ему было с ними просто скучно. Школьными успехами тогда ни я, ни он не блистали, хотя к математике у него были склонности. Нам казалось тогда, что с учебой можно подождать, что есть в жизни что-то более важное, чего нельзя упустить. Мировая революция — вот что тогда владело нашими умами.

— Что ж,— сказал я,— время было другое.

— На каникулах,— продолжал Александр Яковлевич,— подрабатывали где только могли. Я на строительстве и на железной дороге, а Коля в деревне. Привлекал не только заработок — это утверждало нашу самостоятельность.

Александр Яковлевич говорил, а с реки потянуло свежестью, зажглись фонари на бакенах. Он поежился, спросил:

— Не холодно?

— Нет,— ответил я, стараясь продлить беседу.

А вокруг нас кипела жизнь. Сквер заполнился, мест на скамейках не хватало. Молодежь шумно веселилась. Маленький катерок, натужно попыхивая, тащил наполненную кирпичом баржу.

— Этот катерок напоминает мне Колю,— сказал Александр Яковлевич.— Тоже с виду небольшой был. А всю жизнь какой груз нес!

Он задумался, потом вернулся к ранее начатому рассказу.

— Встреч мы всегда ждали с нетерпением и были рады, когда оказывались вместе. Мы были непоседливы и завидно молоды. Все вокруг было для нас ново и интересно, все захватывало. Часто мы вместе бродили по городу. Прислушивались к его жизни, казавшейся нам, парням из деревни и городского предместья, шумной и загадочной. Летом забирались в старинный городской парк и в безлюдные утренние часы подолгу прохаживались по его темным аллеям. Шли рядом бок о бок и больше молчали, чем говорили. Думать друг другу не мешали. Скупые наши разговоры были отрывочными и отвлеченными, велись чаще всего на темы, тревожившие обоих. Коля был яростным — может это сейчас будет звучать несколько старомодно — поборником справедливого отношения людей друг к другу.

— Какова же была его позиция в этом вопросе? — спросил я.

— Раньше,— говорил Коля,— люди были несчастливы. А несчастливые часто несправедливы. С полной победой коммунизма люди будут счастливы и справедливы. Так он думал.

Александр Яковлевич улыбнулся и продолжал:

— В эти годы мы уже зачитывались Горьким и Глебом Успенским. «Овод» и «Дон Кихот» были нашими настольными книгами. Нас увлекал Джек Лондон. Независимый дух горьковских героев, мужество и физическая выносливость золотоискателей Клондайка волновали сердце, будоражили ум.

Однажды Коля спросил меня:

— Ты до революции в нашем парке был?

— Нет,— ответил я ему.

— А я,— сказал Коля,— был.

И он рассказал мне эту полугрустную, полузабавную историю. Застегнув на все пуговицы форменный китель, Александр Яковлевич начал:

— Насколько я понял тогда Колю, был 1916 год. В мире шла война. Каждый день десятки семейств получали с фронта скорбные сообщения. В тот погожий сентябрьский день, в самый разгар бабьего лета, начальница школы — она же преподавательница русского языка Софья Львовна Черникова — тоже получила похоронку.

Пришла она в класс заплаканная.

— Сегодня уроков не будет. Идите, дети, домой,— сказала она.

Ученики разошлись не сразу. Они любили и жалели Софью Львовну. Маленькая, смуглая, с большими черными глазами и едва заметным темным пушком на верхней губе, она была воплощением доброты. И удивительно — дети ее боялись больше других учителей. Нина Ивановна — та всегда суровая. Нахмурит брови, а то еще и «кол» поставит. Отец Александр вообще был драчун. Возьмет ухо в свою большую пятерню и трясет его, пока из глаз искры не посыпятся.

А Софья Львовна усадит нарушителя дисциплины, положит ему на голову свою маленькую приятно пахнущую ручку и спросит:

— Как же это с тобой такое случилось?

А сама тревожно смотрит в глаза.

И тут «преступник» уже не выдерживал, начинал громко плакать, трясясь всем своим маленьким телом. Искренне ему сочувствуя, Софья Львовна доставала из сумочки носовой платочек, вытирала ему глаза и нос. Говорила мальчишке:

— Вообще-то ничего плохого ты не сделал и, конечно, никогда не сделаешь.

Так обе стороны расставались друзьями.

Горе Софьи Львовны расстроило ребят. Коля стоял со своим приятелем Тимошей и рассуждал:

— Теперь, значит, ее Саша сирота...

В Залинейном сирот жалели все.

Грустные, размышляя над горькой участью Софьи Львовны и ее Саши, шли из школы два вихрастых паренька. А по городу гулял легкий ласковый ветерок. Тротуар был засыпан опавшими желто-красными ли-

стьями. Они шуршали под ногами, напоминая о близкой зиме.

Друзья вышли на мостовую и остановились, давая дорогу пролетке. В ней сидел господин в мягкой шляпе и сером костюме.

— Доктор Сергеев,— шепнул Тима.

Мальчики перешли улицу и мимо покосившихся хибарок, лавочек, различных мастерских направились в сторону реки.

На Замковой, ведущей от вокзала к парку улице, все самое лучшее. И пролетки, и дома, и вывески. А сверху, над всей этой пестротой и шумом, опрокинулось великолепное в белых барашках небо. Впереди, в самом конце Замковой, виднелся сквозь редкую листву белоснежный дворец княгини Паскевич.

— Давай пойдем в парк,— сказал Коля Тиме.

— В парк?..— удивленно переспросил тот.— У ворот стоит солдат, не пустит.

Однако идти домой так рано не хотелось и ему.

— Что ж, пойдем,— согласился Тима,— попробуем.

Робко подошли они к главному входу.

— Еще что выдумали! А ну проваливайте! — сердито сказал им солдат-инвалид. И добавил: — Быстро мотайте. Сейчас княгиня Ирина Ивановна променад будут делать.

Но мальчики стоят. И тогда он уже кричит:

— А ну быстрей!

Сконфуженные ребятишки ушли. Тихо, не разговаривая, спустились вниз по Фельдмаршальской улице. Вдруг у Тимы ожили глаза. Повернувшись к Коле, он сказал:

— Стой, вспомнил! Возле больницы есть дыра — прямо в парк. С нашей улицы мальчики лазили. Только вот обрыв рядом...

— Посмотрим,— повеселел Коля.

Действительно, у самой стены, там, где кончалась площадка и начинался обрыв, зиял пролом.

— Тихо только,— шепнул Тима,— в парке черкесы с плетками.

Ребятишки протиснулись через узкую щель и, затаившись в высокой траве, прислушались.

Так вот какой он, парк!

Мальчиков поразили его красота и торжествен-

ность. Они сидели в густой, чуть пожелтевшей траве и слушали тишину, которую нарушало лишь пение птиц. Город ушел куда-то далеко, словно его не было совсем.

Через некоторое время они поднялись. Широкая аллея, покрытая ярким ковром желтых листьев, была пустынна. То, что они увидели, очаровало их: вдоль аллеи стояли красивые скульптуры.

— Боги,— шепнул Коля.

У мальчиков от удивления разбежались глаза. Опасливо осматриваясь, они спустились к мостику. Внизу протекала небольшая речка. Большие черные лебеди медленно двигались по воде.

Ребята застыли.

— Здорово! — изумился Тима.

— Молчи,— прижав палец к губам, сказал Коля.

Все увиденное здесь — сочетание красок, света, зелени, птичьего щебетания и невиданных скульптур — подняло в душе детей чувство восторга.

А парк открывал им новые чудеса.

Друзья вышли к центральной части парковых сооружений. Прямо перед ними вздыбился великолепный конь, на котором сидел какой-то воин.

— Кто это? — спросил Коля.

Тима промолчал. Они прошли еще немного и увидели большой и красивый, как в сказке, дворец. Он сверкал яркой белизной, поражал совершенством и законченностью форм.

Мальчики застыли в изумлении, снова перевели глаза на всадника.

— Кто это? — опять спросил Коля.

— Какой-то король...

Много лет спустя, когда этого памятника уже здесь не будет, Коля узнает, что это был польский генерал Иосиф Понятовский. Создал эту скульптуру датский ваятель Торвальдсен. Памятник был сооружен на деньги, собранные в Польше, и должен был стоять не здесь, а в Варшаве. Но разгневанный восстанием поляков Николай I подарил этот памятник князю Паскевичу — усмирителю восстания. Заодно с ним Паскевич получил город Гомель с большим участком земли.

К действительности ребят вернули чьи-то сильные руки.

— Ах, байстрюки! — крикнул солдат-инвалид,

хватая мальчишек за плечи.— Все-таки пробрались. Марш отсюда!

Александр Яковлевич умолк. Было уже поздно, и мы направились к выходу из парка.

— Екатерина Николаевна говорила мне,— вспомнил я,— что вами кроме этого сквера высажены в Турове тополевая и ореховая рощи.

Лицо Губанова помрачнело.

— С тополевой неустойка вышла,— тихо сказал он.— Паводок затопил. Пятьдесят лет такого не было. А с орехами удачнее. «Должен же приняться на Туровщине орех»,— думал я себе и написал на Украину. Скоро получил саженцы и посадил вначале у себя. Прошел год, другой, третий — получилось! Но подходящего участка не нашли. Тогда раздал их по дворам.

Жизнь не стоит на месте. Разговор на берегу Припяти происходил в сентябре 1966 года, а через некоторое время Александр Яковлевич писал мне: «Приезжайте к нам в гости весной или летом, когда до нас легче добираться. Летом здесь очень хорошо. Приезжайте — посмотрите на мемориальный парк, который доверено разбить мне. Будет все-таки у нас своя тополевая роща».

ГОРОД ПОМНИТ

Уже не первый год Коля работал летом в деревне.

— Отцу трудно и маме нелегко, надо помочь,— объяснял он Кате.

В деревню брал с собой брошюры о сельхозналоге, о защите интересов батраков.

— А, комсомол приехал! — говорили мужики.

Ему было стыдно, что он не комсомолец — в школе ячейки не было. Крутя цигарки, мужики внимательно слушали. Говорили о своих нуждах. Что в книжках, мол, все хорошо обставлено, а вот в жизни...

Катя замечала, что после возвращения из деревни Коля много думал, что-то писал. Подойти, спросить? Улыбнется и скажет:

— У каждого свои дела.

«Что бы это могло быть,— думала Катя,— уж не влюбился ли?..»

Закончив работу, брат в последний раз переписал рукопись и, вложив в конверт, опустил в почтовый ящик. Все дни после этого ходил то задумчивый, то неестественно возбужденный.

«Нервничает»,— решила Катя.

Через несколько дней пришел торжественный, развернул на столе «Полесскую правду». Читал внимательно, с карандашом в руках, что-то подчеркивал, хмурился, удовлетворенно хмыкал. Проходя мимо, Катя увидела заголовок статьи: «Город должен помнить о глухих уголках деревни». Внизу подпись: «Н. Дворников». У них в доме еще никто не писал в газету.

Когда Коля куда-то ушел, Катя прочитала статью Марии Антоновне.

— Почитай еще раз,— попросила мать.

И она прочитала еще раз.

А через несколько дней приносят письмо: «Товарища Н. Дворникова просят зайти в редакцию газеты «Полесская правда». Но, видно, «Н. Дворников» на него не откликнулся. Сидела как-то Мария Антоновна с Колей у крыльца и увидела, как завернул на их улицу небольшого роста, прихрамывающий человек с брезентовым портфелем под мышкой. Коля вздрогнул и бросил Марии Антоновне:

— Меня нет,— и шасть в огород, а оттýда во двор к Соболенкам.

Удивилась Мария Антоновна. Непохоже это на Колю — от людей бегать. Человек действительно оказался работником редакции, заведующим отделом писем. Пришел к ним специально, чтобы поговорить с товарищем Дворниковым, автором опубликованной статьи о деревне.

— Нет его,— сказала Мария Антоновна, опустив глаза.

— Жаль, видимо, он не получил нашего письма.

Мария Антоновна промолчала.

— Шалит почта. Плохо работает еще наша связь,— сказал человек с портфелем и просил передать товарищу Дворникову, что его просят зайти в редакцию.

— Как же это? — укоризненно сказала Мария Антоновна.— Нехорошо от людей бегать. А сама смотрит и думает: «Совсем еще мальчишка...»

Коля, будто угадывая ее мысли, говорит:

— Пойми, мама, посмотрит он на меня, какой я еще молодой, неказистый, и разговаривать не станет.— Он чертил на песке замысловатые фигурки и доказывал: — Да еще пожалеет, что напечатали. Написать еще могу, а разговаривать зря зачем? Обо всем, что надо было сказать, я написал.

Уже тогда не терпел он хвастовства, лишних разговоров, хотя часами мог убеждать домашних или товарищей в чем-либо серьезном.

И вот окончена школа. Как ждал он этой минуты! Сколько было различных мыслей, планов. Хотелось быстрее окунуться в самостоятельную жизнь и действовать, действовать! Только не сидеть сложа руки.

У Марии Антоновны свои мечты, свои планы. Слава богу, окончил ее Коленька среднюю школу. А ведь как трудно было вырастить, дать образование. Вышел-таки хлопец на дорогу. Грамотен, не хуже других. Умом и сноровкой бог не обидел. Устроится теперь в какую-нибудь канцелярию на чистую работу. А там окончит институт Катенька и поможет Коле дальше учиться.

Все надежды на лучшую жизнь связывались в сознании Марии Антоновны с «чистой» работой.

Но не о чистой работе мечтал хлопец. В городе ее тогда почти не было. Шел 1926 год, разруха. В конторе устроиться бы легче. Не так уж много парней со средним образованием. Но у Коли другие планы. Никакой канцелярии! Поработать и одеться, собрать деньжат на дорогу. И в Ленинград — в военно-медицинскую академию.

Я спросил Екатерину Николаевну:

— Как вы думаете, почему он решил поступать именно в это учебное заведение?

Она ответила:

— Думаю, что его манила туда независимость. Всю жизнь мечтал об этом. Я была старше, училась еще. Семья изо всех сил старалась помочь мне. Коля хотел добиться всего сам, без посторонней помощи. Он хорошо видел, как трудно было маме. Не хотел быть в тягость никому, даже сестре. А военно-медицинская брала студентов на все готовое.

Она помолчала и добавила:

— И еще возможность помогать людям, спасать их, кажется мне, тоже привлекала его.

А пока нужно поработать. Но где?..

Выручил горсовет. Он организовал работы по ликвидации Горелого болота. Этим убивались сразу два зайца: предоставлялась безработным, которых тогда было порядочно, работа и ликвидировался отравлявший город опасный источник инфекции.

Я подумал: «Будут читать это люди и спросят, о каком болоте автор пишет?» И вот нашел в справочном отделе Гомельской областной библиотеки старую книгу, в которой сказано, что значительная часть города Гомеля от мужской гимназии (ныне там помещается Белорусский железнодорожный институт) и до линии железной дороги носила некогда название Горелого болота. Место это было густо застроено ветхими домишками. На улицах — невылазная грязь. На некоторых из них целое лето стояли лужи гнилой воды. Тут же, почти в центре города, густо росли: кустарник, осока, тростник. В грязной воде купались свиньи и утки. Бабы полоскали белье, ребята ловили жуков и головастиков. Обыватели так привыкли к пению лягушек, что, кажется, если бы Горелое болото высохло, они непременно жалели бы его,— писал местный старожил.

Сотни лет «берегли» отцы города это болото. Понадобилось всего лишь каких-нибудь восемь лет Советской власти, чтобы навсегда ликвидировать его.

И Коля Дворников был одним из тех, кто воткнул лопату в этот гнилой грунт.

Александр Яковлевич в одном из писем рассказывает: «Однажды я встретил Колю возле Горелого болота. Было лето, стояла жара. Коля шел с работы. Одет он был в костюм из чертовой кожи и старые ботинки. Обрадовались мы оба до невозможности. Я дошел вместе с ним до самого его дома. Разговорились. Школа была уже позади, и дело, которым он был всецело поглощен, наполняло его до краев.

— Полезную работу делаем. Видишь, какое место вонючее. Тут такое будет! — сказал Коля, широко взмахнув рукой.

Сейчас, когда я шагаю по ровному, как струна, залитому огнями проспекту Победы, думаю: «Вгрызаясь тогда лопатой в вонючую тину, этот паренек видел пе-

ред собой сегодняшний день, видел этот замечательный проспект».

Мечты Николая Дворникова сбылись.

Это был праздник, и Коля решил: пусть это будет праздник для всех, а не только для него. На первую получку он покупает часы для Кати. Она, разумеется, обрадована и смущена. Ручные часы в те годы были дорогим подарком.

Молодой рабочий пока рад тому, что имеет. Он порядочно обносился и мог бы купить себе что-либо из одежды. Но он так счастлив, так осторожно надевает сестре на руку часики. Маме принес отрез ситца на платье, отцу — рубашку. Ходит вокруг сияющий, довольный.

— Коля очень любил что-либо дарить. Нравилось ему делать подарки,— говорит Екатерина Николаевна.

На вторую получку он покупает себе новый костюм, рубашку и туфли. Теперь он одет. На третью — едет в Ленинград. Но через несколько дней возвращается. Смотрит хмуро, не разговаривает. Все в доме удивлены. Ведь он так готовился.

— В чем дело? — спрашивает Катя.

— Медицинская комиссия,— грустно отвечает он.— Не понравилось им мое сердце.

«Эх,— думаю я,— знали бы эти строгие дяди, какое большое сердце мимо них прошло!..»

Коля идет на строительство моста через реку Сож. Он в бригаде сваечников.

СЛУЖИТЬ РЕВОЛЮЦИИ

По стране шагает трудовой 1927 год. Верстается первый пятилетний план. Комсомольская ячейка «Белгосстроя» принимает в свои ряды молодого строителя Николая Дворникова. На всю жизнь врезался этот день в память Марии Антоновны.

Под вечер Коля кружит вокруг родного дома. Думает, как поступить. Как жить в доме, где полно икон? Может ли позволить себе такое комсомолец? «Долой,

долой монахов, раввинов и попов! — распевает он вечером в клубе.— Мы на небо взберемся, разгоним всех богов!..» А тут не на небе, а в родном доме — боги.

Входит в комнату мрачный. Мария Антоновна молится.

— Меня приняли в комсомол,— говорит сын.

Мария Антоновна, еле сдерживая раздражение, продолжает молиться. Он этого вроде «не замечает».

— С богами жить не буду! — громко и зло говорит он.

В этом доме кричать? Даже стенам это непривычно. Мария Антоновна смотрит на него во все глаза. Вспоминая об этом, Екатерина Николаевна поясняет:

— Даже наш большой и сильный папа снижал голос, когда говорил с мамой. А тут...

Но Коля громко, еще раз, повторяет:

— Или я, или они!

Лопнуло терпение у Марии Антоновны. Сказала она ему решительно все, что думала о его безбожных друзьях. Напомнила, что кончится у бога терпение и он накажет его.

И тогда, усмиряя гнев, он спросил:

— Кто накажет? Эта деревяшка?..

Коля посмотрел на нее — маленькую, измученную вечной работой, и жалость тронула сыновнее сердце. Как быть? Какими словами убедить ее, что нету его, того, кому она всю жизнь молится?

— Мама, если бы он был, то меня должен был действительно наказать. Но за что он лишил жизни нашу Пронечку? За что сжег Женю? Если он всемогущ, то неужели не мог тогда погасить лучину, унять огонь?

Она стояла, сжав губы, и повторяла:

— Накажет, накажет, безбожник!

Злоба на несправедливость переполнила его сердце. Не помня себя, он схватил со стены охотничье ружье и выстрелил в икону. Позолоченная рамка раскололась, и икона упала на пол. Мария Антоновна вскрикнула, схватилась за голову.

Николай выскочил из дома.

Клавдия Васильевна, двоюродная сестра младших Дворниковых, вспоминает, как однажды поздно ночью к ним прибежал Коля. Он был возбужден и раскаивался в своем поступке.

— Что я наделал! — твердил он, чуть не плача.— Я так хотел убедить ее, а она...

— Сделанного не воротишь,— сказал дядя Василий.

— Вы меня не понимаете, не можете понять. Разве хорошо быть двуличным — одним в ячейке, а другим дома? — В глазах его дрожали слезы.— Ах, мама, мама...

Клава все поняла, побежала к Дворниковым. Калитка и двери в дом были широко открыты. Мария Антоновна сидела за столом, обхватив голову руками. Икона по-прежнему лежала на полу.

— У вас?

Клава кивнула.

— Как он там? — она тревожно посмотрела на племянницу.

— Волнуется,— ответила она.

На некоторое время Коля остался у дяди Василия.

Долгими от бессонницы ночами обдумывала Мария Антоновна свою немудреную жизнь. Трудно было признать, что Коленька был прав. Четырех лет умерла Пронечка — простудила головку. А как умиленно она складывала пальчики и повторяла вслед за мамой: «Сохрани и помилуй мя, господи!..»

Не помиловал, не сохранил.

Потом сгорела Женечка, всего лишь десять месяцев было ей. Сама ушла в огород, а Катя с Колей забавляли младшенькую. Было в то время Кате четыре, а Коле два годика. Женечка очень любила огонек. Часто так и развлекали ее дети. Поднесли и теперь. А тут дунуло ветерком и платьице на малютке вспыхнуло. Детишки испугались и кинулись в огород:

— Мама, мама!..

Пока она прибежала, девочка обгорела и тотчас померла.

— За что караешь, господи?! — кричала, заливаясь слезами, мать, истово крестясь и отбивая в углу поклоны...

Вспоминая это, Мария Антоновна рассказывала мне:

— Вера давно пошатнулась. Это случилось еще в тот погожий день 1894 года, когда стар и млад на жнивье был. Лето подоспело жаркое, зерно осыпалось и лю-

ди спешили. Но приехали стражники и погнали всех в церковь.

— Император Всероссийский, Александр третий умирает! — басил поп.

По всей стране служили молебны за его выздоровление. А на другой день узнали — помер царь. Мария Антоновна была этим потрясена. Как же это бог помазаннику своему жизнь не продлил? Не хотел или не сумел?.. А может... Гнала она от себя греховные мысли, молилась: «Прости меня, господи, за мысли мои кощунственные. Помоги верой моему маловерию!» Жарко молилась.

А теперь встала перед ней вся ее жизнь, полная труда и непередаваемого материнского горя. Долгими ночами ворочалась Мария Антоновна с боку на бок. Не спал и Николай Иосифович, тревожно прислушивался к вздохам жены.

А Клава бегала туда и обратно... Месяц тянулось это.

Однажды в воскресенье, проснувшись позже обычного, увидел Николай Иосифович на тех местах, где еще вчера висели иконы, светлые пятна.

— Сняла,— ответила на немой вопрос мужа Мария Антоновна.

Так в борьбе старого с новым победило новое. Победила жизнь, которая менялась у всех на глазах.

Коля вернулся. Пришел тихий, как и раньше, полный сыновней любви и внимания к матери.

— Ты у меня сильнее кардинала Монтанелли,— шутя сказал он ей.— Сильный ты, мама, человек. Голова у тебя почти министерская.

Без малого в пятьдесят лет Мария Антоновна пошла в ликбез. Овладела грамотой. И простая, измордованная религией и трудной жизнью женщина начала запоем читать книги. Перед ней открылся чудесный мир Толстого, Тургенева, Чехова, Горького. В эти дни она прочитала «Овода» и узнала, кто такой этот Монтанелли...

А Коля мужает, приобщается к общественной работе. Его избирают секретарем комсомольской ячейки «Белгосстроя». Бригада, в которой он работает, строит мост через Сож. Потом они переходят на строительство Дворца культуры имени Ленина.

На заводе «Гомсельмаш» шло партийное собрание. Николая Дворникова переводили из кандидатов в члены партии. Его здесь все знали и любили. Он этот завод строил, теперь работал на нем кузнецом. Недавно была создана комсомольская ячейка, и Коля был избран ее секретарем. Секретарь парткома зачитал его биографию. Когда председатель собрания Станкевич спросил, есть ли у кого вопросы, из зала раздалось:

— Никаких вопросов! Принять в члены партии.

— Голосуем?..

Сотрудник заводской газеты решил все-таки задать вопрос.

— Какие у тебя планы после вступления в партию?

Наступила неловкая пауза. Желая помочь, рыжий Березовский крикнул из зала:

— Выполнять все планы!

А Коля молчал. Всю ночь перед собранием он читал книгу Виктора Кина «По ту сторону». Повествование о том, как два комсомольца оставили мирную жизнь в Москве и ринулись через тысячи опасностей на Дальний Восток — драться за освобождение этого края от белогвардейских и японских захватчиков.

Листая полюбившиеся страницы, Коля задавал себе вопрос — смог бы он поступить так же, как поступили они? Если нет, то имеет ли он право вступать в партию, в которой сражаются за дело революции такие люди, как Матвеев и Безайс? Он дал себе слово, что если его примут — будет таким, как эти парни.

А когда ему задали вопрос о своих планах, Коля не знал, что ответить. Он стоял и молчал. Он даже не мог себе представить, что его не поймут. То, что жило в нем, чем была наполнена в эту минуту его душа, в простые слова не укладывалось.

Молчание Дворникова удивило многих. Но Станкевич понял, что творится в его сердце.

— Не тушуйся, Коля,— сказал он тихо.

И, немного покраснев, Коля ответил:

— Служить революции.

— Правильно, Коля,— поддержал его Генкин.

Вопросов больше не было.

— Какие будут предложения? — громко спросил председательствующий.

— Принять! — послышалось с разных концов.

2 Зак. 674

— Кто за это?

Коля увидел лес рук.

— Что ж, служи, парень, революции,— сказал Генкин.

Коля благодарно посмотрел на секретаря ячейки и пошел на место.

ТАМ, ГДЕ ТРУДНО

Вначале он делится своей новостью с Катей:

— В Тереховке убили секретаря райкома комсомола.

Потом всю ночь думает: «Трудный район...» А утром, вместо того чтобы идти на завод, направляется в окружком комсомола.

— К Паше Папенкову,— говорит он в орготделе.

За столом сидит тонкий парень в такой же, как у него, юнгштурмовке, из того же Залинейного района.

— Вот что, Паша. Пошли меня в Тереховку.

Папенков посмотрел, понимающе кивнул. Надо быть Колей Дворниковым, чтобы с «Гомсельмаша» — гиганта первой пятилетки, о котором почти каждый день пишет «Правда»,— проситься в глухой, отсталый район, где орудуют бандиты. Но у Николая Дворникова теперь одно стремление — быть там, где трудно. И этого принципа он будет придерживаться всю жизнь.

И вот первая трудность. Не подумав о последствиях, он рассказал об этом решении Кате при всех. Теперь мама плачет, а он отшучивается:

— Меня не убьют! Ты же за меня богу словечко замолвишь...

И уже серьезно:

— Меня не так легко убить, мама. Я еще повоюю.

Было темно, когда он подошел к райкому. Закрывавшая дверь уборщица ответила:

— Культпроп Калабудкин в нардоме,— и показала на большое приземистое здание, черневшее в конце улицы.

Шлепая по грязи, стараясь выбирать более сухие места и все-таки попадая в лужи, Коля подошел к нар-

дому. Во всех окнах было темно. Только в последнем мигал слабый свет.

Коля толкнул небольшую дверь, она легко открылась. На него никто не обратил внимания. В большом холодном помещении было пусто, и только в конце его, у самого окна, сидела кучка парней и девушек. На столе стояла лампа.

Большеголовый парень с длинными спутанными волосами что-то громко говорил, махая в такт руками. Огромная тень его плясала на стене. Коля подошел ближе. Оратор держал антирелигиозную речь. Не стесняясь в выражениях, он громил бога и его подручных самым что ни на есть безбожным образом.

Очевидно, Коля пришел уже к концу выступления. Оратор сказал еще несколько сильных слов по поводу опиума религии и спросил:

— Вопросы есть?

Одна девочка тихо сказала:

— Нет.

— Какие будут предложения?

Так как все молчали, он же и заключил:

— Есть предложение принять к сведению и руководству.

Возражений не было. И тогда волосатый парень сказал:

— Объявляю собрание закрытым.

Все облегченно вздохнули, начали выходить на улицу. Коля догнал медленно шагавшего по лужам парня и, взяв его за руку, сказал:

— Здравствуй! Я — Дворников.

— Калабудкин,— ответил парень.

Некоторое время они шли молча.

— Сегодня приехал? — чтобы только не молчать, спросил Калабудкин. Парень чувствовал себя неловко, так как понимал, что лекция ему не удалась.

Дворников подумал: «Значит, это и есть тот самый Калабудкин, культпроп». В окружкоме Темкин ему о нем говорил.

— Что это ты проводил? — спросил Коля тихо.

— А ты с самого начала? — вопросом на вопрос ответил Калабудкин.

— Нет, вошел, когда ты закрывал собрание.

— А-а...— успокоенно промычал Калабудкин и до-

2*

бавил: — Надо, знаешь, ребят накачивать. Делал антирелигиозный доклад.

— Это верно,— согласился Николай.— А ты по каким материалам готовился?

Калабудкин запустил пятерню в шевелюру, почесал там.

— Я, видишь ли, больше из практики...

Утром Коля положил Калабудкину на стол «Библию для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского.

— Почитай.

— Да некогда мне.

— Ничего, я для этого дела на день освобожу. Иди почитай.

Так начал Николай Дворников свою работу в райкоме комсомола.

На кустовом собрании избирателей стоял вопрос о выборах в Советы. Коле пришлось выступать несколько раз. Это был его куст. Сюда он был прикреплен, как член бюро райкома партии. Приходилось разъяснять вещи, которые ему, грамотному парню, казались совершенно ясными. Много своим толковым выступлением помогла Алла Родина. Сидевший рядом с Колей большой рыжеватый парень, директор местной школы, сказал о ней:

— Хорошая девочка, умница. Недавно замуж вышла.

И вот случайно Коля пошел домой вместе с Аллой. После душного помещения приятно дышалось чистым морозным воздухом. Первый снежок припудрил землю.

— Погуляем? — предложила Алла.

— Погуляем,— согласился Николай.

Они прогуливались по главной улице райцентра. Алла рассказывала о себе, о новинках художественной литературы. Книги она любила с детства. И вдруг:

— Уже неделю, как расписалась с Водиным, но женой не стала.— Через некоторое время добавила: — И вряд ли стану.

Она пристально посмотрела на Николая. Он молчал. Не знал, что сказать ей. Да и что он мог сказать? Она

славная девушка, а разговор этот просто ни к чему. Он тут же простился, будто испугавшись ее откровенности.

Потом Коля спросил у Ардова:

— Как же это она расписалась, не любя?

Тот задумчиво — он вообще говорил медленно, как бы процеживая слова,— ответил:

— Понимаешь, очень сильно он уговаривал. Парень хороший, другого не было, вот она и согласилась. А тут ты приехал...

— Да при чем тут я?

— Ты-то, разумеется, не виноват... Но, «при том»,— улыбаясь сказал Ардов.— А тебе она нравится?

— Да. Она умная, славная девушка. Но это же не любовь.

— Любовь...— вздохнув, сказал Ардов.— Она, брат, приходит по-разному, не всегда и разберешься. А к тебе она еще не приходила?

— Нет,— сказал Коля, подумав, и добавил решительно: — Не приходила.

В горячке комсомольских дел этот эпизод забылся.

Наступила зима 1929 года. Первый год пятилетки был бурным и трудным: коллективизация деревни, первые массовые выборы в Советы. Собрания затягивались до полуночи, а иные и до утра. Одно из них особенно запомнилось.

Оно проходило в том же нардоме. Пришли парни и девушки из райцентра и деревень. Заполнили все свободные места. Некоторым места в помещении не хватило, и они толпятся на улице. В середине ноября на дворе уже холодно. Пританцовывая, парни спрашивают:

— Запись будет?

— Куда? — отозвалась какая-то девушка.

— Тебя не касается,— говорит, шмыгая носом, длинный парень.

— Почему не касается?

— На Дальний Восток в армию пойдешь?..

— А чем я хуже тебя, сопливого? — огрызается она.

Все хохочут. А в зале начинается. Докладывать будет Николай Дворников.

Конечно, присутствующим давно все известно по газетам. Этим живет вся страна. Испытывая терпение

советского народа, чанкайшисты устраивают на нашей границе провокацию за провокацией. Они обстреливают мирные села и рыбачьи поселки.

Сотни, тысячи писем и телеграмм идут в адрес командующего Особой Дальневосточной В. К. Блюхера. Молодые и старые рабочие, крестьяне, служащие, студенты требуют: «Возьмите нас. Дайте возможность проучить зарвавшихся бандитов». Им отвечают: «Справимся сами».

Жизнь потом показала — справились.

А пока, в эти дни середины ноября 1929 года, молодежь волнуется. Гудят от напора страстей деревянные стены нардома. Недавно Дворников, Маркевич и Молочко, заменивший ушедшего на учебу Калабудкина, объехали ячейки. Всюду слышали одно:

— Когда будет организована запись и отправка на Дальний Восток?

Кто-то пустил слух: военком, к которому обращались все, якобы сказал:

— Это дело райкома комсомола.

Ребята шумят:

— Не организуете, сами поедем!

И вот собрание. Никогда не слышали эти стены такого озорного и буйного песенного разлива. Уселись все ячейками. Озаренные внутренним пламенем, с горящими глазами, они поют: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов...» В другом конце зала звучат песни о штурмовых ночах Спасска и о боевом восемнадцатом годе. С трудом Николай успокаивает аудиторию, объявляет собрание открытым. В президиум выбирают 20 человек — каждая деревня хочет иметь своего представителя.

В энергичных выражениях Дворников рассказывает о положении на советско-китайской границе и об ответе командарма Блюхера. Говорит, что партия и правительство все учитывают и, если потребуется...

Слово «позовут» тонет в шумных аплодисментах. Он ждет, пока ребята успокоятся. Ему ведь надо сказать и о задачах дня. О подготовке к посевной и о коллективизации.

Петя Казей, секретарь Тереховской ячейки, предложил считать мобилизованным на Дальний Восток все собрание. Буря оваций покрыла его слова. Кто-то гром-

ко закричал: «Списки, списки!» Его поддержали другие. Николай, чтобы успокоить их, кивнул головой. Дескать, согласен, будут.

Завдетбюро Михаил Маркевич зачитал резолюцию. За нее проголосовали все. Коля запел Интернационал. Когда гимн был спет, некоторые стали спрашивать:

— А запись когда?..

Коля объяснил:

— Собрание мобилизовано. Пока позовут, будем заниматься мирными делами.

В районе создавался крепкий комсомольский актив, и летом 1930 года Николай Дворников переводится в Жлобин. В окружкоме говорят:

— Ребята выросли, есть кем заменить. Да и вся организация окрепла.

И хотя это было правильно, отдали Колю неохотно, после напоминания о комсомольской дисциплине.

И вот он в Жлобине. Опять долгие, за полночь, собрания и наполненные срочными делами дни. Организация школ крестьянской молодежи, ударных бригад в депо и мастерских. Многое из опыта, найденного и удачно примененного в Тереховке, переносится сюда.

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

Николай шел с очередного бюро райкома усталый. Последнее время они часто затягивались. Уж очень любил поговорить культпроп Виктор Милешко. Всем вроде ясно, а ему кажется, что нет. И давай разводить...

— Вопрос недостаточно обсосан,— возражает Виктор.

И смех и грех с ним. Коля прямо говорит ему об этом, а он отвечает, что перенял это слово у директора совпартшколы. А тот — человек умный.

Милешко только что окончил учебу и был направлен сюда заведующим культпропотделом. Назначением недоволен, намекает, что способен на большее. Всю работу видит в разговорах. Ребята о нем говорят:

— Грамотен, но нудный...

— Трудно мне с ним,— сказал как-то Николай пропагандисту райкома партии Диснеру.

— Что он, колеблется вправо или влево?

— Хуже. Неисправимый болтун.

Диснер — добродушный, немного нескладный человек — тогда высказался так:

— Верно, это хуже. Надо рекомендовать окружкому комсомола выдвинуть его секретарем райкома. Может, поумнеет. Ответственность, она иногда меняет и характеры.

Озорная мысль заставляет Николая улыбнуться: «А что, если направить Милешко на полученное недавно по разнарядке место в пединститут? Парень может с удовольствием пойти...» В это время за спиной слышатся чьи-то шаги — Дворникова догоняет Диснер. С ним какая-то девушка. Удивительно: Диснер и девушка?..

Пропагандиста райкома уважают и дружески посмеиваются над его странностями. Говорят, когда он едет в деревню, берет с собой семизарядный револьвер. Перед тем как положить его в небольшой сундучок, какой обычно возят с собой мастеровые, он разбирает его. Отдельно кладет барабан, другие части и патроны.

— Товарищ Диснер, зачем это вы разбираете наган? — спрашивают его соседи.

— Как зачем? Раз в семь лет оружие стреляет само...

— Тогда зачем вы его вообще берете?

— С наганом, знаете ли, спокойнее...

Любой вопрос Диснер объяснит так, что запомнишь на всю жизнь. Он всегда строг к себе и подтянут. Получает 50 рублей в месяц, из которых 20 рублей ежемесячно переводит в Киев племяннице — сироте, студентке медицинского института, 10 рублей высылает товарищу в комвуз, а на 20 рублей живет. Диснер организован и экономен. У него точно рассчитано, сколько должны служить брюки, сапоги, пальто. Он не терпит небрежности в работе, длинных речей и долгих заседаний.

Вот и теперь, увидев Колю, спросил:

— С заседания? Что, Милешко все разъясняет?

— Разъясняет,— ответил Николай.— И, оживившись, поделился идеей об отправке заведующего культпропотделом на учебу.

— Стоит ли? — выслушав, сказал Диснер.— Не всем и грамота впрок. Лучше послать хорошего парня, на ноги встанет. Сколько у нас желающих учиться!

— А что делать с ним?

Диснер молчит, думает.

Коля смотрит на девушку. Глаза у нее светлые и чистые, как родниковая вода.

— Племянница,— поясняет Диснер.— На каникулы приехала.

— Таня,— протягивает она Коле маленькую ручку.

Ночью Николай не может уснуть. Признаться себе, что из-за девушки,— не хочется. Подумаешь, любовь с первого взгляда!

Но сердце бьется тревожно, и перед глазами все время стоит милое лицо, ясный голос, маленькая рука.

Через два дня они встретились уже не случайно. Он долго ходил по дощатому тротуару, пока услышал звуки ее шагов. Она шла из нардома, смотрела старый фильм. Пошли вместе. Коля шел рядом, как связанный. Ему даже стало жарко. Незаметно подошли к зданию райкома комсомола. У стены, под березой, стояла скамейка. Присели. Он спросил ее, как идет учеба и на каком она курсе. Она ответила, а он ничего не слышал.

Потом спросил, с кем она живет, и тут же понял, какую сказал нелепость. Она пояснила, что единственным родным ей человеком является Диснер. А сейчас она живет с двумя подругами.

— Чудесные девочки! Они мне — как сестры. Вместе учимся. Живем интересно.

Николай не мог понять — почему эта маленькая девушка становится ему все ближе и милей. Кажется, жизнь отдал бы за нее. Подумал: «Что это со мной?..»

А потом связанность ушла, он увлекся и не заметил, как рассказал Тане о своих планах и мечтаниях, об «Оводе», Безайсе и Матвееве. Никогда никому — ни Кате, ни даже Саше Губанову не говорил он об этом. Непроизвольно он коснулся ее руки и почувствовал, как она дрогнула. Он отнял руку.

— Завтра с утра совещание...

Он сказал это вслух, как бы для себя. Она рассмеялась:

— А я лодырь. Когда ехала сюда, такие планы составляла, а здесь разленилась.

Он хотел проводить ее домой.

— Не надо,— сказала она.

— Да я ведь живу рядом.

— Ну что ж, тогда до твоего дома.

Всю ночь он пролежал с открытыми глазами. Все думал. Вспоминал, как на заводе девушки и парни бегали к нему со своими сердечными тайнами. Какое там девушки! Молодые женщины изливали ему свои горести, а он слушал и недоумевал:

— И что за лихо погнало вас так рано замуж? О чем думали?..

Вспомнил, как пришла к нему однажды в комитет комсомола Мурка Козина. Красивая, смуглая, с черными глазами на матовом лице. Пришла и заплакала:

— Филька совсем...— Она употребила плохое слово.— Приходит домой поздно. За Валькой Швец ухлестывает. Что делать, Коленька? Помоги! Он тебя уважает. А ведь как добивался...— Слезы потекли из ее глаз.

Да, Коля помнит, как старательно и долго ухаживал Филя за Муркой. Вскоре они поженились. Ребенок у них уже. И вот...

Когда Филя — большой, широкоплечий блондин — во время обеденного перерыва зашел в комнату ячейки, Коля сказал:

— Ребята, извините.

Они поняли и ушли. Предстоял нелегкий разговор.

Филя на целых три года старше Николая, член партии. Успел поработать секретарем ячейки паровозного депо. Не поладил там с кем-то и вернулся в цех, к своему станку.

— Филя,— глухо сказал Николай.

— Ну что?

— Филя, ты знаешь, как изменилась твоя Мурка? Похудела вся, почернела...

— Она всегда на цыганку смахивала,— сказал Филя и вдруг произнес: — Что-то ты, Коленька, к моей Мурке стал присматриваться. Понравилась? Ай-ай, столько незамужних девочек, а тебя потянуло к чужим.

— Филя, не говори пошлятину. Ты отлично знаешь, о чем я говорю. Перестань ухлестывать за этой дурой. Это называется — бытовое разложение.

— А-а-а...— протянул он и шепнул доверитель-

но: — Ты хоть раз посмотрел, какие у Вали Швец глаза, а? Коля...

— Причем тут ее глаза?

— Ты только взгляни в ее глаза,— повторил он,— и забудешь не только о Мурке, обо всем на свете. Вообще, ты что — нездоров, Коля? Что-то я тебя с девушками не вижу.

— Филька! Прекрати, не паясничай. Будет так продолжаться — не посмотрим ни на что. Поставим вопрос о твоей партийности.

— Ишь как расходился, громовержец! — сказал Филя и тонко свистнул.

— Сегодня же буду говорить о тебе с Генкиным,— закончил разговор Николай.— Я тебя больше не задерживаю.

— Смотри, как быстро научился! Ладно, брошу эту Валю. Хоть, по правде говоря, и жаль,— уходя, крикнул Филя.

Коля подумал, что теперь он тоже не сможет сказать: «Нет, не любил». Его посетила любовь — настоящая, такая, что бывает раз в жизни. Но права на нее он не имеет. С этим надо кончать. Пора уже взять себя в руки. Встречаться с ней он больше не будет. Это решено твердо.

Днем на площади было торжество. Длинные вереницы груженных хлебом подвод с красными флагами и яркими лозунгами прибыли из разных деревень района. Крестьяне вели себя степенно, торжественно. Митинг открыл председатель райисполкома Андрей Карначев. Потом выступил секретарь райкома партии Ивлев. Вокруг суетились корреспонденты из газет и кинохроники.

Николай выступал после Ивлева. Болела голова после бессонной ночи, усталость сковывала тело. На площади собралось почти все население райцентра. Среди толпы он вдруг увидел Диснера, рядом с ним стояла Таня.

Выступая, Дворников сказал, что крестьяне, которым не хватает хлеба для себя, проявили высокую сознательность и оказали помощь государству. Говорил он негромко, не очень эффектно, но слова о том, что они «поделились последним», понравились крестьянам. Все шумно захлопали.

После выступления Николай пошел в райком партии, где шло бюро. Он сидел растерянный, невеселый.

— Что с тобой? — спросил у Дворникова Диснер.

Он промолчал, пожал плечами. Дескать, ничего особенного.

Прошло несколько дней. Вечером Николай сидел у окна и читал книгу. Это была волнующая повесть о верности долгу и чувству. В ней рассказывалось о любви революционера Андрея и замечательной девушки Жанны Ней.

Николай читает, волнуется. Какие замечательные люди, и рядом с ними какая мразь ходит по земле. Давит, топчет все чистое. До тех пор, пока есть тюрьмы, в которых убивают таких людей, как Андрей, пока по земле ходят бессовестные циники и пошляки он, Николай Дворников, не имеет права на личное счастье. Он должен отдать свою жизнь борьбе за дело рабочего класса.

Перед его мысленным взором стоит, заслоняя Жанну, Таня. Он знает — уверен, случись такое с ними, Таня, как Жанна Ней, не пощадит для его спасения ни своей жизни, ни чистой любви.

Он захлопнул книгу. Встал и широко распахнул окно. Комната наполнилась вечерней свежестью. Как хорошо! Сразу потянуло на улицу. «Может быть, встречу ее,— подумал он и тут же поиздевался над собой: — Ну и герой!»

Посидев немного у калитки, Николай встал и пошел вдоль улицы. Августовское небо потемнело, на нем уже перемигивались первые звезды. Вот и райком.

И вдруг он увидел Таню. Заметила его и она.

— Здравствуй, Коленька,— тихо сказала она и протянула руку.

Все его «твердые» намерения улетучились, исчезли.

— Танечка! — проговорил он, переполняясь радостью.

Они ходили по улочкам городка и говорили без конца. Им надо было все рассказать о себе, все узнать друг о друге. На каком-то перекрестке она оступилась, и он поддержал ее. Взгляды их встретились, и они поцеловались.

— Поздно,— сказала она,— тебе завтра работать.

На другой день он рассказал ей о Жанне Ней. По-

чувствовав, как дрожит ее рука, он уже было пожалел об этом. Но она сказала:

— Я все понимаю. Я ведь комсомолка.— Глаза ее стали строгими, в них отразилась большая внутренняя сила.

Каждую ночь он ложился спать с мыслью, что не имеет на это права, что завтра же с этим будет покончено, но наступало это «завтра» — и все повторялось.

Однажды Николай шел домой после очередного затянувшегося заседания. Было уже поздно. Жадно вдыхал он свежий воздух, пахнущий только что прошумевшим летним дождем. Около своей калитки увидел Таню.

— Устал? — спросила она.— Что-нибудь хоть сегодня ел?

— Конечно,— ответил он и добавил: — У меня, кажется, есть молоко. Зайдем?..

— Поздно уже.

— На минутку.

Он открыл дверь, и они вошли в его комнату. Здесь царил полумрак, на окне стоял букет цветов. Коля обнял Таню и стал горячо целовать ее в губы и щеки.

— Что ты, Коленька, что ты,— тихо сказала она...

Ушла она от него уже под утро.

Через неделю Таня уехала. Письма приходили короткие. Четвертый курс очень трудный. Но ей легче, чем другим,— у нее такие замечательные подруги. И после института они тоже будут вместе. Его взволновала фраза: «Для меня это важнее, чем для них, и что бы со мной ни случилось, они меня не оставят».

Что такое с ней? Он спросил ее в очередном письме, здорова ли она. Не случилось ли с ней чего нового? Она ответила: «Все, дорогой, по-старому. За меня не беспокойся, у меня все в порядке. Учусь, здорова, нового ничего нет».

Потом письма стали приходить реже, хотя были попрежнему теплыми, ласковыми. Иногда она ему снилась. Тогда хотелось бросить все, куда-то мчаться, бежать, только бы увидеть ее.

Но время шло, и нити, связывающие обоих, постепенно слабели, стали теряться.

ТАК ВОТ ОНИ КАКИЕ!

Новая властная мысль овладела сознанием Николая Дворникова. В сердце поселилось желание, не оставив места ни для чего другого. Он уже работал в Минске, в ЦК комсомола республики, а душа его была далеко от столицы Белоруссии.

Как это началось?

Зародилась эта мысль еще в то время, когда он увлекался Лермонтовым, прочел «Овода». Оформилась же в тот день и час, когда вступал в партию и тот круглолицый парень спросил у него: «Какие у тебя планы?» Он ответил тогда: «Служить революции» — и смутился от громкости этих слов.

Но окончательно утвердилось это решение на Десятом республиканском съезде комсомола. Тогда он забыл не только Таню, а все на свете. Помнил лишь выступление в темноте человека из подполья, представителя Западной Белоруссии.

А было это так.

Уже они обсудили все вопросы, избрали новый состав ЦК комсомола, и многие удивлялись неожиданно наступившей паузе. Ждали, что сейчас подымется секретарь ЦК и объявит съезд закрытым. Делегаты встанут и споют «Интернационал». В голове у Николая копошились уже деловые, будничные мысли.

Но в это время поднялся Миша Поляков и сказал:

— Товарищи, сейчас выступит представитель коммунистов и комсомольцев коммунистического подполья Западной Белоруссии.

Сразу стало тихо. Потом все зааплодировали, встали со своих мест. Но тут погас свет. Какая-то девушка охнула. Миша сказал:

— Тише, товарищи!

Все поняли, что так надо.

А из президиума уже звучал, набирая силу, низкий глубокий голос:

— Дорогие братья по партии и классу. Ваши товарищи, борющиеся в глубоком подполье за освобождение Западной Белоруссии от белопольских оккупантов шлют вам пламенный, революционный привет!

Что творилось в зале! Все повскакали с мест. Звонкий девичий голос кричал:

— Да здравствует героический комсомол Западной Белоруссии! Да здравствует мировая революция!

И снова председательствующий Поляков сказал:

— Тихо, время.

Ребята поутихли. Шум, аплодисменты прекратились. И в эту тишину вливались страстные слова. Человек «оттуда» рассказывал о революционной борьбе за рубежом, о замученных дефензивой, о новых тысячах лучших парней и девушек, идущих им на смену.

Зал слушал его затаив дыхание.

С этой минуты Николай потерял покой. Он окончательно решил, что будет вместе с ними. Это было то, к чему он подсознательно готовился всю жизнь. В тот же вечер он сказал об этом Полякову. Секретарь ЦК отмахнулся:

— Передний край там, где ты нужен. Не забывай, что тебя только что избрали в состав ЦК.

Это было правильно, и работа в ЦК была интересной. Но для него, Николая Дворникова, все самое интересное и важное сейчас было там. Никакая другая работа заменить ту, необычайно трудную и опасную, но такую увлекательную и нужную работу, не могла.

И те люди, от которых это зависело, поверили этому невысокому пареньку. Поверили, что он сумеет работать в условиях самой жестокой конспирации, в необычайно трудном подполье. Что его не испугают ни дефензива, ни пытки, ни тысячи других сложностей. Такие работники были нужны, и его позвали.

— Николай, тебя ждет человек,— сказал Поляков и добавил: — Оттуда.

— Оттуда?..

Поляков кивнул.

Коммунистическая партия Западной Белоруссии — КПЗБ! Кровью горячей, алой лучших сынов Белоруссии вписаны эти буквы в историю нашего народа, в историю освободительного движения Западной Белоруссии, Коммунистической партии Польши, частью которой она являлась. Более семи тысяч бесстрашных борцов, из которых почти половина постоянно томилась в тюрьмах, сражалось в ее рядах. На смену ушедшим, павшим в тяжелых испытаниях, приходили новые люди и продолжали дело старших.

Каждый, кто шел в эту партию, знал: борьба будет трудной, враг жесток и беспощаден.

Всю мощь враждебного капиталистического государства — полицию, жандармерию, дефензиву, церковь и желтую печать, подкуп и провокацию, уничтожение сильных и растление неустойчивых — все, вплоть до науськивания подонков и темных сил, бросила продажная клика Пилсудского на уничтожение партии коммунистов. А она — гордая, мужественная, стояла и боролась. Погибали, выбывали из строя одни, вставали на смену десятки других борцов.

В один из весенних дней 1932 года Николая Дворникова принимали руководители КПЗБ. Комната была широкой, просторной. А может быть, она только казалась такой? В ней почти не было мебели. Только полка с книгами, койка, застланная солдатским одеялом, и стол, за которым сидел строгий, подтянутый человек лет около тридцати. Весь его облик показался Николаю несколько суровым. Но иного он и не ожидал. Подпольщик, очевидно, не может быть другим.

Позже тихо вошел и сел на койку другой, более подвижный светловолосый человек. Он подходил к полке, брал книгу, смотрел ее, потом ставил на место. Изредка этот, второй, бросал пытливый взгляд на Николая. А Николай сидел и слушал. Его занимала только одна мысль: «Как-то я им приглянусь, такой невзрачный?»

В эту минуту он отчетливо увидел все свои физические недостатки. Круглое, почти детское лицо. Небольшой рост. Неокрепший пушок над губой. И эти совсем уж некстати синие, как у девушки, глаза.

А тот, второй, думал свое: «Кто ты, парень, и что у нас ищешь?..»

Николай Семенович Орехво, которого тогда звали Петром, рассказывает:

— Это было более тридцати лет назад, однако наша встреча с Николаем Дворниковым вспоминается отчетливо. Я встречал много ребят. Но этот невысокий, застенчивый паренек почему-то врезался в мою память навсегда. Первое, что бросилось мне в глаза,— его искренность, скромность и какая-то детская застенчивость. Но я и Боген (Гершон Дуа) знали: за плечами у парня жизнь строителя и комсомольская работа. Нам

было известно, что он энергичен, активен и — это мы чувствовали — умен. Такие в подполье нужны.

Но что его тянет к нам? Что заставляет так энергично этого добиваться? Об условиях жизни в мире капитала он ведь знает только из книг и кинофильмов. Из мира, где властвует труд, где хозяевами являются рабочие и крестьяне, он стремится в Западную Белоруссию с ее «прелестями» капиталистической эксплуатации, где человека, вступившего на путь борьбы, ждет суровая, полная опасностей и ежеминутного риска жизнь. Он оставляет родную страну, Родину, связывает свою судьбу с судьбой революционеров и миллионов трудящихся в стране капитала. В той стране, где гнет капиталиста и помещика переплетается с гнетом оккупанта.

Мой собеседник посмотрел в окно, потом продолжал:

— Ничего не утаивая, Боген и я рассказали Дворникову о трудной жизни подпольщика-революционера, о дантовом пути к свободе, который проходит через тюрьмы и застенки дефензивы. Рассказали ему о длинных тюремных днях и ночах. Он спокойно слушал нас. Молчал и слушал.

Тогда заговорил один Боген. Он сказал Николаю, что понимает влечение сердца молодого коммуниста. Но он, возможно, не представлял себе особенностей этого пути. Что ж, он может отказаться, и никто не перестанет его уважать. Жизнь ведь не готовила его к этим условиям, да и не все, умеющие хорошо работать здесь, сумеют там. Такие случаи бывали.

Тогда этот парень посмотрел нам в глаза и сказал:

— Никогда я еще не был так уверен в своем выборе. Никогда мое решение не было так твердо, как сейчас.

Боген крепко пожал парню руку. А он спросил:

— Могу я рассчитывать на положительное решение вопроса, и когда это будет?

— Мы тебя, парень, сначала немного подучим,— ответил Боген.

И вот пришло это... Люди, фамилии которых он встречал в книгах, оказались рядом. И пока они были здесь, использовали каждую минуту, чтобы поделиться опытом, передать его молодым.

Среди тех, кто готовил будущих подпольщиков, были такие люди, как Станислав Будзинский, Адам Славинский, «Шлемка» (Миллер), «Петр» (Орехво), Боген (Дуа), «Мертенс» (Скульский), «Алесь» (Масловский), Глебов. Имена многих были известны и революционерам тех мест, где они работали, и дефензивщикам, которые за ними постоянно охотились.

Каждый руководитель занятий считал своей обязанностью рассказать собравшимся здесь парням и девушкам о борьбе, участвовать в которой им предстоит, поделиться впечатлениями, личным опытом. Некоторых товарищей Николай знал по газетам и брошюрам. В прошлом году он познакомился с «Письмами на волю» неизвестной польской комсомолки — так назывались изданные в 1930 году «Молодой гвардией» письма Веры Хоружей. Теперь она выступала сама: живая, улыбчивая, обаятельная. Она, как и старый подпольщик Лазарь Шайковский, лишь недавно была освобождена из польской тюрьмы.

Интересно было слушать Скульского. Яркий пропагандист, он щедро делился своим богатым опытом. Боген объездил почти весь мир, участвовал в борьбе шахтеров Канады, строителей Калифорнии, был среди грузчиков Афин. Он умел рассказывать, любил рассказывать, и у него было что рассказать.

Один из организаторов КПЗБ С. Т. Миллер вспоминал первые годы работы в партии. С улыбкой говорил о работе комсомольских организаций Масловский. О практике подпольного дела подробно и четко рассказывал Орехво.

Затаив дыхание, слушал Николай этих людей. Впервые познакомившись с революционерами-подпольщиками по книге Э. Войнич, он представлял их мрачными и неразговорчивыми. А это были обычные люди — простые, веселые, общительные.

Однако мысль о том, что только вчера они были в подполье и завтра снова уйдут туда, делала их в глазах Николая значительными. Сами же они о своей работе говорили как о чем-то обычном, с целью чисто практической: как работать в стане врага, не будучи опознанным, как по внешним признакам распознать провокатора и узнать друга. На лекциях и в беседах каждый рассказывал об особо опасных случаях и сложных по-

ложениях, которые бывали с ними и другими подпольщиками. Говорили о том, как спокойствие и выдержка помогали им выходить из самого, казалось бы, безвыходного положения.

После занятий Николай старался отвести кого-нибудь из старых подпольщиков в укромный уголок и выспрашивал подробности. Он собирался работать серьезно, поэтому готовился обстоятельно и упорно. Парень понимал, куда идет. Ему надо было как можно больше знать.

Чаще всего Николая Дворникова можно было видеть с Николаем Масловским. Беседовали Коля малый и Коля большой.

Их отличал не столько возраст (Масловский был старше на два года), сколько рост и опыт. Алесь имел за собой уже три года подполья — срок немалый. И Дворников его внимательно слушал. Он умел слушать людей. И это вызывало желание рассказывать, делиться мыслями, вспоминать детали, какие-то мелочи. Хотя, конечно, каждый понимал, что в подполье мелочей нет.

Дворников сблизился с Шайковским, Богеном, Скульским, Верой Хоружей. Перед ним вставала напряженная, прекрасная и трудная жизнь партийного и комсомольского подполья, не прекращающаяся даже в тюрьме.

Но Николай Дворников не только слушает. Он много думает. У него вырабатываются свои взгляды. И только одна мысль мучает его: «Сумею ли?..»

ТАНЯ

Дворников шел с занятий. Вдруг кто-то взял его за руку.

— Постой-ка, хлопче!

Он обернулся и обрадовался — Диснер!

— Как живешь, старина! Ты где? — спросил Николай.

— Заведующим орготделом райкома работаю. А ты как?..

Николай замялся, хотя Диснеру можно было верить

как себе. Но уже действовал закон конспирации, и он промолчал.

— А-а!..— сказал, что-то соображая, Диснер.

И тут Николай спросил:

— Не знаешь, что с Таней?

— С Таней? — Лицо Диснера стало строгим.— Окончила институт. Работает врачом в Киеве. Имеет сына... Великолепный малыш.

— Как — сына? Она что — вышла замуж?..

— Не вышла,— сказал он и резко спросил: — Неужели ничего не знаешь?

— Нет...— тихо ответил Николай, уже догадываясь, в чем дело.— Я Таню спрашивал еще тогда, в сентябре и позже. Она отвечала — ничего нового...

— Она мне говорила об этом. Не хотела, видишь ли, быть тебе обузой. Нарушать твои планы.

Николай стоял ошарашенный. Значит, у него есть сын, а он...

— Где она теперь живет?

— Да там же, на Фундуклеевской.

— Обязательно съезжу. Завтра же пойду...

Лицо Диснера немного смягчилось, и он спросил:

— Все готовишься «туда»?..

— Готовлюсь...

Они стояли и молчали. Теперь помрачнело лицо Николая. Диснер сказал:

— Мы с сестрой никогда не видели отца. Погиб на Акатуе. Таня не знала ни отца, ни матери — росла круглой сиротой. Я думал, что хоть ей достанется счастье, что ее сын будет иметь родителей.

Он говорил, как всегда, ровно, не повышая голоса, и от этого было еще больнее.

— Да, будь здоров! — прервал он вдруг самого себя. Сделал несколько шагов и остановился.— А стоит ли, брат, тебе ехать к ней?..

Николай молчал.

— Ну, как знаешь,— сказал он напоследок и ушел.

Николай взял на несколько дней отпуск и через день был в Киеве, шагал по Крещатику. Найти Фундуклеевскую было делом несложным, и вот он уже стучит в квартиру номер 2. Дверь открыла девушка с румянцем на щеках. «Оля»,— подумал он.

— Таня здесь живет?

— Здесь,— сказала она, с любопытством оглядывая его и явно догадываясь, кто перед ней.— Проходите.

— Таня! — крикнула она, обернувшись,— к тебе.

— Ко мне? — послышалось из дальней комнаты.

Сказав: «Я сейчас приду», Оля оделась и вышла.

Таня шла навстречу, не сводя с него глаз.

— Коля,— прошептала она дрожащими губами и прижалась к нему.

Николай порывисто обнял ее худенькие плечи.

— Таня, Танечка,— смог лишь проговорить он.

— Ну пойдем, посмотришь нашего сына,— сказала она, целуя его.

На узкой кровати спал красивый мальчик. Николай нагнулся, долго смотрел на него. «Весь в Таню»,— подумалось ему.

— А теперь раздевайся и умойся,— повеселела она.— Живем, как видишь, с Олей. Наташа замуж вышла. Вот это наша спальня, а здесь мы работаем.

Растерянная, взволнованная, она все еще как следует не пришла в себя. Через силу улыбнувшись, спросила:

— Рассказывай, что у тебя нового? Дядя Павел писал, что после Жлобина ты работал в ЦК. А теперь не знает, где ты. Давно тебя не видел.

Она без умолку говорила, что было необычно для той, прежней Тани, какую знал Николай. Пыталась улыбаться, а из глаз катились слезы.

Николай быстро умылся, сел за стол. Позавтракали.

— Сколько уже Вадику? — впервые вслух произнес он имя ребенка.

— Годик. В десять месяцев пошел. Чудесный парень, уже говорит «мама».

«А кому он скажет «папа»?» — внезапно пронеслось в голове Николая, и сердце его тревожно забилось. Он видел, что эта же мысль пронзила и Таню. Она побледнела и села рядом.

— Таня, почему ты мне не написала? — спросил он ее после небольшой паузы.

— А зачем? Ты ведь говорил о своих планах, о том, что тебе обещали...

Действительно, он как-то говорил ей, что написал в Коминтерн. И хотя вопрос решился только весной этого

года, расстаться все равно пришлось бы. Даже в случае отказа. Он пошел бы к Полякову еще раз и добился бы своего. Иначе он не мог поступить. Это было бы изменой всему тому, чем он жил с детских лет, во имя чего вступал в комсомол и в члены партии.

Таня это поняла давно и сказала:

— Нет, Коленька, сделала я правильно. Ничего бы это не изменило, только причинило бы лишние муки.

«Милая моя, понимаешь ли ты, какой ты человек!» — думалось ему.

А она продолжала:

— Вот я иногда думаю и понимаю, что не комсомольские это мысли. Мой дед погиб на каторге во имя счастья будущих поколений. А его дочь — моя мать — разве она была счастливой? Отец погиб в гражданскую, и я росла сиротой. Теперь уходишь ты, и наш сын будет расти без отца. Вот я и думаю,— голос Тани дрогнул,— где же то поколение, которое будет счастливым? И будет ли оно когда-нибудь вообще?..

Ее слова расстроили Николая. Он молчал. Жалость и боль охватили его душу. Вместе с тем у него не было никакого сомнения в правильности избранного пути.

— Понимаешь, Таня, я не могу сказать тебе твердо, как бы я поступил. Если бы даже знал. Но если бы действительно знал...

— Нет,— сказала Таня.— Я не хочу этого.— Она провела рукой по его волосам.— Я тебя полюбила сразу. В тот вечер...

Она улыбнулась и виновато добавила:

— Я так хочу счастья! Но вряд ли мы с тобой были бы счастливы. Ты после этого был бы самым несчастным человеком, и я от этого тоже.

— А что такое счастье, Таня? Я уверен, что твой дед на Акатуе был счастлив. Да,— твердо сказал он.— Ему было тяжело, но он был счастлив. И твой отец тоже. Счастье... Разве оно не в том, чтобы бороться в полную силу ума и сердца? Не в том, чтобы жить в ладу со своей совестью? Мы воюем за счастье не только для грядущих поколений, а и за сегодняшнее. Потому что в этой борьбе видим и свое собственное счастье. Пусть даже оно немножко и запоздает...

— Ах, слова, слова,— ответила она.— Иной раз мне хотелось бы быть простой деревенской девушкой и

чтобы ты был обыкновенным парнем и был со мной. Но я понимаю — ты прав. А за меня и за него можешь не беспокоиться. Я воспитаю его крепким и сильным. Что же касается дороги к счастью, то он сам ее найдет. Как нашли его дед и отец.

— Это уж что-то очень грустное,— сказал Николай. И они улыбнулись друг другу.

На другой день она попросила:

— Расскажи мне о своих близких родственниках.

И он рассказал ей о сестре Кате, об отце, младшем брате Васе и о маме. О ней со всеми подробностями. Как она в 50 лет окончила ликбез и как весь год, пока училась, критиковала непорядки в школе.

Рассказал, что на выпускном вечере Мария Антоновна Дворникова попросила даже слова, и молодая учительница, зная ее характер, побледнела. Она была очень удивлена, когда, поднявшись на трибуну, ее ученица сказала: «Большое спасибо и земной поклон Советской власти и вам, милая Анна Никитична, за то, что раскрыли нам глаза, сделали нас зрячими. Никогда не забудем вашей доброты».

— Мне бы очень хотелось увидеть твою маму,— мечтательно сказала Таня.

— Поедем! — зажегся Николай.— Договорись на работе и — айда!

Так они и сделали.

Мария Антоновна была поражена, когда увидела сына с ребенком на руках. Сбоку и чуть сзади него стояла худенькая светловолосая женщина.

— Здравствуй, мама! — ласково произнес Николай.— Принимай гостей.

— Здравствуй, Коленька!

— Это моя жена и сын,— сказал он тихо и посмотрел на Таню.

Мария Антоновна растерялась. Она впервые слышала, что у ее Коли есть жена и сын.

— Проходите, дети, садитесь,— преодолевая смущение, сказала Мария Антоновна. Она поцеловала обоих и взяла к себе на руки жавшегося к Коле внука.

— Что же ты, Коленька, об этом нам ничего не говорил? Вы что же — вместе живете, дети мои?

— Нет,— ответил Николай.

— Почему же?..

— Так уж, мама, сложилось.
— Ну, а дальше-то как?
— Поживем — увидим.

Таня побледнела. Она опустила глаза и молчала. Чтобы как-то сгладить неловкость, Мария Антоновна сказала:

— Пойдемте, дети, в сад. Летние яблоки уже созрели.

А теперь я должен вернуться к тому, что говорила мне сама Мария Антоновна в июне 1969 года. Должен рассказать о камне, который давил ей сердце.

— В рукописи кое-что сглажено,— начала она.— Не так встретила я жену Коли, было иначе. Не могу простить себе, какая я была холодная и глупая. Мальчик их, мой, значит, внук, уже ходил немного, держась за стену. И она такая славная, беленькая, приятная. Спрашиваю их:

— Живете вместе?
— Нет,— отвечает Николай.
— А как будет дальше?
— Не знаю,— говорит,— как сложится.

— А я привыкла к порядку,— поясняет Мария Антоновна.— Ну, брак не церковный, так советский. А тут вижу — ничего. Есть жена, есть сын, а семьи нету. Она вышла, я и спрашиваю Николая: «Ты хоть алименты платишь?» А он как-то странно улыбнулся и отвечает:

— Она женщина гордая, не хочет.— И, посмотрев в мое полное недоумения лицо, добавил: — Я, мама, ей помогаю и помогать буду.

— Тогда я встала и вышла,— вздохнула Мария Антоновна.— Даже имени ее не спросила. Ребенка запомнила: звали Вадиком. И в сад их не звала. Ушла от них, а теперь простить себе не могу. Взял Коля на руки ребенка, с тем они и ушли. Очень мне сейчас больно. Где-то, может, внук живет... Ты искал? — с тревогой спросила она.

— Искал и буду искать,— ответил я.

— Пойми, что я не разлучать думала. Наоборот: она мне понравилась. Мне тогда он не понравился. Я хотела, чтобы была семья. Ну, думаю, молодая

страсть, случайно появился ребенок. Но ему же нужен отец! Как-то не вязалось это с тем, как я понимала Коленьку. И с тем, что он говорил: есть жена, сын — а вместе не живут.

— Но ведь они знали то, чего вы, Мария Антоновна, не знали,— заметил я.— Они оба знали, что он уходит на подпольную работу, но сказать этого вам не могли. Не хотели пугать и просто не имели на это права.

— Господи! Да если бы я знала, что будут потом КПЗБ, подполье и Испания, что все это неизбежно,— разве бы я была такой каменной,— сказала она с досадой. Больная устала, говорила шепотом.

— Отдохните, Мария Антоновна.

Она немного помолчала, потом сказала:

— Что ж, восемьдесят седьмой год живу. Жизнь прожила честно, а вот этот камень давил меня. Рассказала тебе — и стало легче. Ты исправь это место и внука поищи...

— Хорошо, Мария Антоновна, постараюсь.

А дальше тогда было так:

— Пойдем, Коля,— сказала Таня, когда Мария Антоновна ушла.

Они направились в гостиницу.

— Коля,— попросила Таня,— пойди возьми билет на одиннадцатичасовый и дай Оле телеграмму.

— Как, уже? — упавшим голосом спросил Николай.

— Да. Тебе лишнее горе, и ребенок привыкает.— О себе она не говорила.— Один билет,— предупредила она.

Таня уехала одна. Николай долго смотрел на удаляющийся последний вагон. Поезда уже не было видно, а он все стоял на перроне, и душа его была наполнена горьким ощущением утраты. Почему он отпустил ее одну?..

Через месяц Дворников был впервые переброшен туда, куда давно готовился и так стремился.

Сложен, необычен и опасен путь подпольщика, пробирающегося через охраняемую днем и ночью границу. Трудны, особенно тревожны и ответственны для него первые часы и дни среди незнакомых людей, непри-

вычного уклада жизни другой страны. Подвести может любая мелочь. Новый работник должен не только раствориться в массе, органично вписаться в окружающую обстановку: в лабиринты улиц, интерьеры магазинов, вокзалов, явочных квартир. Ему надо и своим внутренним психологическим состоянием, взглядом, поведением, жестом и словом не выдать чужому человеку той тайны, с которой он пришел к нужным людям, к братьям по классу.

Тщательно готовясь к исполнению функций практического работника в Западной Белоруссии, Дворников твердо усвоил главнейшее требование конспирации — не выделяться. Один из товарищей Николая по виленскому подполью рассказал мне:

— Вначале он даже немного пересаливал. Иду я однажды мимо костела. Смотрю, а среди усердно молящихся — знакомая фигура. Николай тоже заметил меня, незаметно кивнул, а потом догнал. «Нравится тебе,— спрашивает,— как я молюсь?»

Позже парень из Гомеля играл на людях, как говорили мне его друзья, умеренно верующего молодого человека. Проходя мимо «святых» мест, он лишь машинально, несколько небрежно крестился. Постепенно, по крупицам, у него складывалась нужная линия поведения, приобретался опыт, вырабатывался характер бойца.



Часть вторая

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Для Николая Дворникова началась новая жизнь.

Сегодня он не Дворников, а «Антек», завтра «товарищ Герасим». Потом будет «Робертом». Товарищи по Кобринскому восстанию будут знать «Максима». Для участников съезда КПЗБ, на котором его изберут в состав ЦК, он «Петька». Имена будут меняться — Дворников меняться не будет. Разве что станет опытнее, мудрее. С каждым днем будет расти его авторитет, улучшаться революционная закалка. Не по книгам и кинофильмам, а в ежечасных боях узнает он, что такое классовая борьба.

Капитализм Западной Белоруссии был свирепым. Пилсудчики превратили этот край во внутреннюю колонию Польши. Понимая, что хозяева они временные, стоявшие у власти богатеи беспардонно грабили и раздавали своим холуям лучшие земли, всячески унижали национальное и человеческое достоинство народа.

Промышленность Западной Белоруссии сокращалась из года в год. Была введена отданная на откуп итальянским капиталистам табачная монополия. Это привело к закрытию табачных фабрик в Бресте, Вильно и Гродно. Шведскому капиталу была отдана спичечная промышленность. Коробка спичек стоила столько же, сколько стоил десяток яиц. Кожевенная и некоторые другие отрасли промышленности были сведены на нет. Кожа, картофель, лен, лес вывозились на переработку в центральную Польшу.

Результатом этой колониальной политики было резкое увеличение безработицы. Отражая настроение молодежи, Максим Танк писал:

> На запад идут поезда —
> Лен,
> Жито,
> Сосна и береза...
> Гляжу я с тоскою всегда,
> Как молодость нашу вывозят.

Положение крестьянства, составлявшего основную массу населения Польши, было тяжелым. Кучка землевладельцев имела до половины всей пахотной земли края. Радзивиллы, потоцкие, паскевичи — вот у кого была земля. Кроме общих налогов крестьянин должен был платить сеймиковые, дорожные, волостные, школьные.

Нищета и ненависть к оккупантам дошли до того, что налоги взимались с помощью секвестров, иногда путем конфискации имущества. Нередко изъятие кончалось вооруженной схваткой с полицией.

В борьбе с полицейско-помещичьим произволом крестьянство объединялось, разоружало агентов налоговых органов, изгоняло их. Для подавления крестьянского сопротивления правительство создавало карательные экспедиции. Издевательства принимали разнузданный характер. Кроме налогов правительство создало унизительную систему штрафов. Не покрашен забор — штраф, нет на телеге таблички с именем владельца — штраф. В стране была введена монополия на соль и сахар. Цена на них была взвинчена.

Аграрная политика буржуазной Польши была направлена на подчинение малоземельных крестьян монополиям. Пуд хлеба продавался за 3 злотых, а за осьмушку табака приходилось платить 70 грошей.

Особенно трудной была судьба молодежи. Плохие жилищные условия, отсутствие денег на покупку одежды и обуви, систематическое недоедание ежегодно уносили тысячи юных жизней.

В дополнение ко всему давил национальный гнет. Все мероприятия властей были направлены на вытравливание у людей чувства национального самосознания. Притеснялась школа на родном языке, печать. Широко были распространены репрессии.

Но народ боролся. Организатором и вдохновителем этой неравной и мужественной борьбы была коммунистическая партия и ее верный помощник комсомол. Созданный в 1924 году, он с первых дней стал организатором рабочей, крестьянской и студенческой молодежи.

Комсомол наносит мощные удары по ненавистному режиму насилия. Репрессии властей только закаляют его, усиливают ненависть к поработителям, втягивают

в борьбу новые сотни молодых борцов. Комсомольцы организуют в городах забастовки, сплачивают рабочую и учащуюся молодежь, выпускают листовки. В деревнях организуют саботаж выплаты налогов под лозунгом «Ни одного гроша оккупантам и насильникам!».

Там, где нет партийных ячеек, комсомол делает все — вплоть до вооруженного отпора карателям. В нелегальной и легальной печати молодые борцы напоминают людям о лучшей доле, которую можно добыть лишь в борьбе.

В такой обстановке оказался в подполье товарищ Герасим.

В Варшаве в те дни работал семинар практических работников, и там решили: пусть Антек — это было первое подпольное имя Николая Дворникова — познакомится на нем с буднями подпольной работы. Пусть здесь, на той земле, где ему придется действовать, он почувствует живое дыхание революционного коммунистического подполья.

Но Николай пробыл на семинаре недолго. Его участники Ю. Левин и Л. Рудницкая вспоминают: «Мы остались, а он ушел на практическую работу в Белосток».

В новых, совершенно незнакомых условиях, где действуют строгие законы конспирации, Антек готовится к делу. Товарищи знают, что он «радзецкий», единственный здесь советский человек. Они присматриваются к нему, а он сразу не раскрывается.

«Поначалу он показался мне человеком неразговорчивым и малообщительным»,— пишет из Варшавы Юлиан Левин, в те дни слушатель той же школы. О таком же первом впечатлении пишут мне и другие подпольщики. Очевидно, это не случайно. Антек не хотел раскрываться первым. Сначала он знакомился с теми, с кем ему в будущем предстояло работать, а потом уже показывал себя. «Чем больше я узнавал его, тем больше он меня очаровывал,— сообщает Ю. Левин.— Потом я встречал его уже как Герасима — человека большого ума и сердца. Он был требовательным к себе и товарищам, принципиальным, мог противопоставить себя всей школе, если был уверен в своей правоте. Помню, он дружил с Масловским, но это не мешало ему часто спорить с ним».

Л. Рудницкая рассказывает:

— Он был добросердечен с товарищами и очень волновался, когда надо было сказать другу неприятное. Антек это делал. После занятий он прививал нам основы физической культуры. Небольшой, но достаточно сильный, он владел красотой движений. Помню, как он показывал нам борьбу «джиу-джитсу» — приемы защиты от нападения вооруженного человека. Бывали случаи, что мы над этим посмеивались, а он говорил: «Ладно, улыбайтесь. Только осваивайте, черти. В будущем пригодится». Мы знаем, что ему это пригодилось.

Когда я читал это письмо, мне припомнился рассказ Александра Яковлевича Губанова:

— Как-то мы были в цирке на гастролях Ивана Поддубного. Коля смотрел внимательно. А когда шли домой, сказал мне: «Узнай, где можно достать двухпудовую гирю?»

— Что, завидуешь славе Поддубного?..— спросил я.

— В жизни, Саша, есть более высокие цели,— ответил он.— Потом я узнал, что его герой не Поддубный, а Рахметов. Прошло некоторое время, и Коля стал выжимать двухпудовик одной рукой. Нужно ему это было, разумеется, не для выступлений в цирке.

Работа в Белостоке была для Дворникова первым серьезным испытанием, пробой сил. Действительно, человек из Советского Союза впервые попадает в промышленный район капиталистической страны. В город, где много различных буржуазных партий и все они борются за душу молодого человека, за его мировоззрение, где кипит острая классовая борьба. Надо иметь немалую энергию, ум и находчивость, чтобы во всем этом хорошенько разобраться. Более того: взять в свои руки дело организации этой борьбы.

Товарищ Герасим с этой задачей справился.

В начале 1933 года на совещании в Рембертове, под Варшавой, организованном ЦК комсомола Польши, Герасим отчитывался о работе в Белостоке, и видно было, что он не только вошел в гущу борьбы молодежного подполья, а и взял эту борьбу в свои руки. После его отъезда в городе началась всеобщая забастовка текстильщиков.

Из Варшавы Герасим едет на работу в Брест.

Летом 1969 года я пришел на квартиру к Василисе Семеновне Селивоник. В те годы, о которых будет идти речь, ее фамилия была Козел, псевдоним она носила «Таня». Сейчас Василиса Семеновна персональная пенсионерка.

— Это было, если мне не изменяет память, в конце февраля или в начале марта 1933 года,— говорит Василиса Семеновна.

— В конце февраля,— подтверждает подошедший к этому времени муж Василисы Семеновны — Иван Федорович Селивоник, тоже подпольщик, встречавшийся с Николаем Дворниковым.

Иван Федорович уточняет:

— Позже быть это не могло, потому что в апреле меня арестовали.

— И вот,— продолжает Василиса Семеновна,— приходит тогда ко мне Митя, секретарь нашего Брестского окружкома комсомола, и говорит: «Встретишься с новым товарищем. Он будет вместо меня». Дал мне явку, пароль. А через несколько часов я с ним встретилась. Митя относился к Максиму с большим уважением, а на меня он особого впечатления не произвел. Аккуратно и чисто, по-городскому, одет. Больше слушает, чем говорит. Я даже не подумала, что он советский. Он поручил мне послать связного в Литвинку, подготовить для него квартиру. Потом я часто встречала Максима. И чем больше его узнавала, тем лучше понимала. Должна сказать, что он был хороший конспиратор. Я даже думала, что он вырос в семье подпольщика.

Иван Федорович внимательно слушал, а затем продолжил воспоминания жены:

— Однажды пришел ко мне связной,— начал он,— и передал: «В квартире Ивана Лобова тебя ждет Максим». Я пошел к нему. Лобов был старым коммунистом, воевал у Буденного. Уважаемый в Литвинке человек был. В 1941 году немцы его замучили. Вхожу, значит, я в дом, а в хате никого. Правда, в углу сидит какой-то крестьянский парень. В таком же, какой был на мне, грубошерстном пиджаке и серой кепке. Лобов вышел, а я себе думаю: «Принесла нелегкая этого паренька...» И тут же прикидываю, как его спровадить. А он смотрит на меня и будто любуется моим смущением. А потом — бац пароль. Я растерялся, но все же назы-

ваю отзыв. А он так тихо и спокойно говорит: «Здравствуй! Я Максим».

— Ну, конечно, расспрашивать меня стал о работе,— продолжил рассказ Иван Федорович.— Я был членом подпольного райкома комсомола, ведал техникой. Это значит — связи, расклейка листовок, транспарантов и т. п. Он мне тут же поручил разослать связных в четыре ближайших района — предполагалось межрайонное совещание. С Дворниковым-Максимом я встречался еще несколько раз. Слушал его выступления, выполнял отдельные поручения. Он был небольшого роста. А когда выступал, то казалось, что вырастал. Позже он меня уже как лучшего друга и брата встречал. Был у него, я бы сказал, уважительный, полный доверия к тебе братский подход. Каждому из нас казалось, что ему он доверяет больше всех, и каждый из нас за ним куда угодно пошел бы.

Супруги Селивоники рассказали мне, что Брестчина была ареной острых классовых боев между бедными крестьянами и батраками, с одной стороны, и помещиками и их псами-полицейскими — с другой. Не проходило и месяца, чтобы в том или другом углу этого края не возникали стычки. В 1928 году только на одну демонстрацию в Литвинку из соседних сел пришло около семисот человек. Они несли лозунги: «Долой правительство кровавой оккупации! Ни гроша налогов правительству насилия!» Так было и в 1930, и в 1931 годах.

25 февраля 1931 года ЦК КПЗБ объявил днем борьбы с голодом и безработицей. Решено было провести в Кобрине, на рыночной площади, демонстрацию. На рассвете 25 февраля из окрестных деревень потянулись бедняки и батраки. Конная полиция оцепила дорогу, подняла стрельбу. Ей отвечали камнями и палками. Комендант Кобрина и некоторые полицейские были стянуты с коней и избиты. Демонстрация все-таки состоялась.

Волна забастовок прокатилась по всей Польше. Экономические требования усиливались политическими: «Преградить дорогу фашизму и антисемитизму! За свободу родного языка!»

Накал борьбы был очень высоким. Репрессии беспощадными. Бастующих выселяли из казенных квартир

3 Зак. 674

и бараков, у них отнимали продукты, купленные на средства, собранные рабочими и крестьянами. В полицейских участках арестованных избивали. Стреляли в демонстрантов. В Супрасле полиция убила двух рабочих: Казимира Буткевича и Витольда Ульмана, 28 человек было ранено. Случилось это 10 июля, а через день не работало ни одно промышленное предприятие городка. Хоронить убитых пришло более тысячи человек. Демонстранты шли с развернутыми красными знаменами, на венках были надписи: «Убитым в борьбе за хлеб и работу».

Полиция в этот день на улицах не показывалась.

В Ропчицком повете, спасая свои пожитки от секвестраторов, крестьяне прогнали агентов налоговых органов и выгнали палками пришедших с ними полицейских. В ответ на стрельбу они разгромили полицейский участок. Вызванные в Ропчицы для усмирения крестьян солдаты отказались стрелять в своих братьев. Восставших поддержали рабочие Кракова. Но распыленность движения определила его провал. И все-таки эти выступления имели большое значение для дальнейшего развертывания народной борьбы.

Наиболее активно кампания солидарности с крестьянами Краковского воеводства проходила в западнобелорусском Полесье. Секретарем окружкома там была Регина Каплан, комсомольцами руководил Максим-Дворников.

Полесский воевода — «кровавый пес вешателя Пилсудского»,— как его в листовках называли крестьяне,— Костек-Бернацкий, зная о растущей активности масс, проводил так называемые «предупредительные мероприятия». 25 июля в Леплевку приехал секвестратор с полицейскими. Они начали забирать у крестьян коров и последние пожитки. Коммунисты и комсомольцы деревни дали отпор. Отобрали у секвестратора скотину и с криком: «Ни одного гроша налогов пану Пилсудскому! Мужики, защищайте свое добро!» — камнями и палками выгнали грабителей из деревни. Убегая, полицейские дали залп по толпе и смертельно ранили коммуниста Леона Боганского.

Не подозревая о новых репрессиях, люди уснули.

И когда крестьяне успокоились, в деревню ворвался полицейский истребительный отряд. Пьяные кара-

тели, мстя за дневное поражение, взламывали двери, врывались в дома, избивали людей и выволакивали скотину, обливали керосином продукты. Только под утро оставили они разоренную, ограбленную деревню.

Сообщение об этой невиданно жестокой расправе полиции над безоружными крестьянами всполошило всю округу. Жители деревни готовы были душить помещиков и полицейских голыми руками. Нужно было что-то предпринять. Такое злодеяние не могло остаться безнаказанным.

28 июля 1933 года Брестский обком КПЗБ совместно с комсомольской организацией собрал в лесу расширенное совещание. На нем были представители коммунистов Бреста и ряда поветов, активные коммунисты окружающих сел. Подготовкой этого совещания руководили Регина Каплан и Максим. Они же были основными докладчиками. Совещание решило в ночь с 3 на 4 августа идти в имение братьев Молочевских. Эти разбойники месяцами не выплачивали батракам заработанные гроши. В порядке изучения Максим сам несколько дней ходил туда «на заработки».

По принятому плану четыре колонны из разных населенных пунктов должны были идти к имению. Предполагалось разоружить по дороге осадников и захватить оружие в новоселковском полицейском участке. Несмотря на то, что накануне выступления Регина Каплан была арестована, подготовка шла полным ходом. В назначенное время колонны были организованы. Крестьяне обезоружили в Бельске осадника Кжешко, который ходил потом по их заданию по осадницким домам, и те без сопротивления сдавали ему огнестрельное оружие.

Однако вскоре произошло непредвиденное: крестьяне четвертой колонны встретили полицейского на велосипеде. Его надо было просто задержать. Но совсем недавно люди в этих мундирах нанесли им столько обид. Леплевцы не выдержали и начали стрелять. Бросив велосипед и служебную сумку, полицейский скрылся. Колонны были встречены огнем. Чтобы оборвать связь с властями, восставшие срубили столбы телеграфной линии. Но получилось так, что полицейские сумели сообщить о происходящем в Кобрин и Брест. Страх у властей был так велик, что правительство по-

слало туда не только мощный полицейский отряд, но и броневики.

К 11 часам утра 4 августа выступление крестьян было разгромлено. Десятки участников восстания были схвачены, многие ушли в леса. Случайно избежавший ареста Максим развернул работу по разъяснению сути происшедших событий. Через день была выпущена листовка в защиту арестованных.

Костек-Бернацкий задыхался в бессильной злобе. По всей Польше искали Максима, а он находился здесь. Рядом с гостиницей, где проходил суд. Умение владеть собой и находчивость выручили его.

Как-то после совещания в Бресте Максим, чью конспиративную квартиру нащупали агенты полиции, едва не попал в руки дефензивы. Второй раз это было на крестьянском собрании. «Мы тогда,— писал мне участник Кобринского восстания Василий Ласкович,— часто использовали деревенские сходки. На одну из таких сходок пришел и Максим». Кроме них там было еще несколько членов КПЗБ. Максим попросил слова. Большинство крестьян не знало выступающего. Стало тихо. И в этой тишине Максим рассказал крестьянам, как нужно сплачиваться в борьбе с произволом властей, чтобы завоевать свою рабоче-крестьянскую власть. Окончив речь, он хотел уйти, но мужики засыпали его вопросами. Максим отвечал, но вдруг заметил, что через толпу с карабином в руке к нему пробирается полицейский.

Блестящий козырек с белым орлом раскачивался из стороны в сторону, приближаясь к Николаю. Бежать некуда — за спиной стена. Все смолкли, слышно было только дыхание перепуганных крестьян. «Я был поглощен только одним вопросом,— говорил впоследствии Максим,— есть полицейские на улице или этот непрошеный гость явился один?»

— Прошу пана,— сказал полицейский.

Но «пан» не стал ждать. Ребром ладони он рубанул полицейского по шее. Тот упал. Николай выхватил из его рук карабин, вынул и выбросил затвор. Мимо оцепеневших от неожиданности крестьян он свободно прошел к выходу.

Во время суда над участниками восстания прокурор сказал:

— Смертная казнь через повешение будет хорошим уроком для смутьянов из КПЗБ и всех недовольных.

А в написанной уже на второй день Николаем Дворниковым листовке говорилось: «Они, палачи и вешатели, нас учат. Они дают нам урок за уроком. Уроки голодом, уроки пытками, уроки безработицей, уроки тюрьмой и каторгой. Теперь они хотят нам дать урок смертью через повешение.

Еще не остыли трупы рабочих в Супрасле, а они хотят повесить Регину Каплан и с нею восемь наиболее мужественных борцов за свободу нашего народа.

Все на защиту лучших людей нашего края! Только протест всех рабочих, крестьян и интеллигенции поможет нам вырвать из рук палачей наших лучших сынов и братьев».

Листовки, небольшие прямоугольнички бумаги... Перелистываешь пламенные, написанные кровью сердца, пронизанные жгучей ненавистью к поработителям документы тех дней и понимаешь, почему так дрожали пилсудчики. На всех столбах, заборах, стенах домов — даже на стене гостиницы, где шел суд,— были вывешены призывы в защиту арестованных.

Власти старались обезопасить себя, принимали срочные меры. В указании из Бреста поветовым комендантам было сказано: «К нам поступили сведения, что Брестский обком КПЗБ предложил всем райкомам выделить по два организатора и направить в Кобрин с тем, чтобы любой ценой помешать приведению в исполнение приговора над коммунистами. Усильте бдительность, примените любые средства к тому, чтобы приговор был приведен в исполнение».

Они уже знали, что арестованных приговорят к повешению. Воевода Костек-Бернацкий приказал заранее построить виселицы. Их построили, и они стояли, чернея в осенней ночи. Но, увы, их пришлось убрать. Под гневным напором народных масс смертный приговор был отменен.

До 28 октября 1933 года Максим находился то в Бресте, то в Кобрине, то в лесах неподалеку. Встречаясь с людьми, он направлял борьбу за спасение арестованных.

Эти события многому научили Дворникова. Он познал страсть революционной борьбы, горечь потерь и

поражений. Но это восстание показало также, что народ Западной Белоруссии готов к решающим боям.

Суд над участниками Кобринского восстания, который пилсудчики хотели превратить в суд над КПЗБ и комсомолом Западной Белоруссии, превратился в суд над ними самими.

Во время процесса демонстранты разбили в зале заседаний все окна. Регина Каплан в течение всего следствия — страшного следствия с применением пыток — презрительно молчала. На суде она сделала только одно заявление:

— Ваш суд, для меня не суд. Мне был бы страшен суд народа, если бы я была перед ним виновата.

Подсудимый Василий Никончук сказал:

— Суд оккупационной власти — щит оккупационной власти. Какой это суд? — И он, махнув рукой, сел.

В это время ЦК КПЗБ доверяет Николаю Дворникову руководство секретариатом ЦК комсомола. В 26 лет он известный участникам Кобринского восстания как Максим, становится вожаком комсомольского подполья Западной Белоруссии, руководителем революционной молодежи трехмиллионного края.

Бывший секретарь ЦК комсомола Западной Белоруссии Сергей Григорьевич Анисов поясняет:

— Почему с таким волнением, с такой любовью говорят о Николае Дворникове все, кто его знал? Потому, что он любил людей, у него это был врожденный дар.

— Ну, а ораторские и организаторские способности? — спросил я.— Говорят, что Дворников был пламенный оратор.

— Если подойти с обычной меркой, то этого сказать нельзя,— подумав, ответил Сергей Григорьевич.— В его речи не было красивой звонкости отшлифованной фразы. Он мог и хмыкнуть, и кашлянуть, и паузу допустить больше, чем следует. А люди слушали. Чем он брал? Думаю, сердечностью и мыслью. Он умел сбрасывать шелуху, обнажать суть. И неясное становилось ясным. Если говорить о секрете его обаяния, то можно сказать, что он много думал о людях и мало думал о себе.

Слушая С. Г. Анисова, я вспоминал то, что мне рассказывал в сентябре 1966 года в Вильнюсе товарищ Болек — бывший секретарь Виленского подпольного

окружкома комсомола. Кое у кого из них появилось подозрение, что товарищ Ю. провокатор. Легко выговорить, но нелегко поверить. Кому-то показалось, что парень не так стал улыбаться. Эти люди заронили на некоторое время подозрение и в душу Герасима. В таких случаях работника «завешивают», т. е. отстраняют от дела и проверяют.

— А я,— говорил мне Болек,— сказал Герасиму, что Ю. честный человек. И тогда он решил встретиться с этим парнем. Понимаете?

Я понимал — в этом был определенный риск.

Встреча состоялась на квартире у Болека. Разговаривали целый день, прихватили даже часть ночи. Я не спрашивал у Болека, о чем Дворников говорил с Ю., но после этого вопрос о недоверии к нему был снят. Потом этот парень оказался в Испании и, по словам Эйхер-Лорке, Герасим и Ю. крепко подружились. Возможно, что эта дружба началась в тот день на квартире у Болека. Погибли они в одном бою на Эстремадурском боевом участке.

РАССКАЗ ХОЗЯЙКИ ЯВОЧНОЙ

Сарра Левина, державшая конспиративную квартиру Николая Дворникова в Вильно, рассказывает:

— Герасим?.. Я не могу без волнения вспоминать это имя. Первый раз я его увидела в 1935 году. Привела его ко мне, на Поплавского, 7, моя подруга — студентка Виленского университета. Мы принадлежали к студенческой организации «Функ» («Искра»). На пришедшем с ней товарище был темно-серый костюм и голубоватая рубашка с галстуком. С тех пор Герасим несколько раз в неделю приходил к нам. Легкой, вразвалочку, но решительной хозяйской походкой, зорко все вокруг разглядывая, шел он по плитам узкой улочки.

Из рассказа Левиной передо мной вставал образ опытного подпольщика. Соседи знали: этот аккуратный, даже, пожалуй, несколько изысканно одетый человек берет уроки немецкого языка у молодой Левиной. Дворников входил в небольшую комнату и садился в кресло. В день его прихода к столу ставили лучшее кресло старика Левина.

Завидев кресло, гость шутил:

— Да я утону в нем! Дайте какой-нибудь стул.

— Нет, нет,— говорили ему,— в нем удобнее.

Посмеявшись, он садился. На столе уже лежали газеты всех направлений. Он работал здесь над легальными белорусскими изданиями. Встречался с товарищами.

В обязанности Сарры входило закупать к его приходу в киоске газеты всех направлений, в том числе и черносотенные. Старый киоскер-поляк говорил ей:

— Как это вам, молодой женщине, не стыдно покупать такую дрянь?

— Надо все знать,— отшучивалась она.

Прежде чем приняться за работу, он спрашивал: «Ну, что нового?» Этого вопроса Сарра ждала и рассказывала о делах в университете, где она училась, о встречах и настроениях людей. А он слушал.

Муж Сарры знал, кто такой Герасим, а своим старикам она сказала, что преподает молодому человеку немецкий язык. Конечно, они догадывались, кто он. Дворников сразу завоевал их сердца. Здесь глубоко уважали людей из СССР. За короткое время Герасим сдружился с этой семьей, особенно с мужем Левиной — поэтом и художником. По заданию Герасима он иллюстрировал подпольную газету «Поборовец».

Чем больше люди узнавали Герасима, тем больше он покорял их своим интернационализмом, уважением к каждой национальности, к чувству человеческого достоинства. Ему не надо было агитировать за дружбу с Советским Союзом — он сам был наглядной агитацией. Этот белокурый паренек обладал какой-то особой силой воздействия на людей. Его любили и ему старались подражать. На явочной квартире Герасима оберегали от всяких случайностей. Перед его уходом Левина прогуливалась по улочке и проверяла, нет ли где подозрительных людей. Дом на Поплавского, 7, был удобен тем, что имел запасной выход к реке Вилейке. Но Герасиму везло — пользоваться им так и не пришлось.

Бывший член ЦК КПЗБ Иван Семеников вспоминает:

— В один из моих приездов в Вильно ко мне пришел Герасим. Пришел и говорит: «Встретил интересного парня — поэт и революционер. И то, и другое настоя-

щее. Надо тебе, товарищ Павлов, познакомиться с ним и его стихами».

— Ладно,— сказал я,— пусть несет свои стихотворения.— Дня два их читал. В поэзии я не очень, но сила протеста, таланта всегда покоряет. Когда прочитал строчки «Свидания», словно увидел будущее:

Не плачь! Вернемся из тюрьмы —
Артелью выйдем в поле мы,
Еще для нас взойдет заря.
Не плачь, не убивайся зря!

— Меня охватило волнение. Надо было по-настоящему верить в народ, чтобы написать в то время такое,— говорит Семеников.

С тех пор прошло более тридцати лет. Семеников уже не помнит, какие еще стихи этого парня он читал. Запомнилось одно: перед ним была поэзия борьбы. Стихи его стали печатать везде, где только могли. Не только в легальных, но и в нелегальных изданиях. А кое-что отправляли и в СССР. Так вошла в их жизнь поэзия Евгения Скурко — Максима Танка.

Сам поэт так говорит о Дворникове:

— В нем сочетались темперамент и выдержка, интуитивное понимание скрытой сущности вещей и умение анализировать их. Его возмущало, что национал-демократы используют имя Кастуся Калиновского. Помню, как он сказал: «Говорю тебе, Евгений, не их бога этот человек. Наш он душой и телом — только наш. Эх, найти бы мне время и засесть за книги...»

В революционных боях крепла КПЗБ, тесней сплачивался с массами комсомол Западной Белоруссии. Герасим знакомится с прогрессивными парнями и девушками из интеллигентской среды. Их покоряет в синеглазом пареньке большая идейная убежденность. К нему тянутся многие. Он дружит с молодыми учеными, литераторами и студентами. Среди них были Демчинский, Ендриховский, Петрусевич, Левин. Окрепла дружба и с Евгением Скурко. Последние стихи молодого поэта печатались уже под псевдонимом — Максим Танк.

В эти дни один из агентов дефензивы пишет о Гера-

симе: «Смел, осторожен, умеет раствориться в любой массе».

Василий Ласкович — активный участник Кобринского восстания — вспоминает:

— Встреча с секретарем ЦК комсомола товарищем Герасимом была назначена в Вильно. В указанном месте ко мне подошел хорошо одетый молодой человек. «Что ему надо?» — подумал я. А он улыбается:

— Не узнаешь?..

— Смотрю — да ведь это Максим!

Да, это был Максим, руководитель комсомола Полесья и организатор Кобринского восстания. Тот самый крестьянский парень, который вместе с другими сезонниками ходил на покос в имение Молочевских. Днем он вместе со всеми работал, а вечерами готовил молодежь к выступлению.

Бася Давидовна Кнубовец, бывшая связная, говорила мне:

— Принимал как-то Герасим у приехавшего из района паренька отчет. Посмотрел на него внимательно и говорит: «А ну, примерь-ка мой кафтан. Ничего, надевай, не стесняйся». А когда парень уходил, спросил его: «Как у тебя с деньгами?» И, видя на лице паренька смущение, отдал ему почти все свое наличие. А после ходил в легком пиджачке и поеживался.

Дворников никогда не жаловался на трудности, потому что жил во имя большой цели. Об этой жизни он мечтал. В двадцать семь лет у него посерело лицо, побелели виски. Он работал во всю силу ума и сердца и видел перед собой близкую победу.

Как и поэт, он мог сказать о себе:

Года идут, седеет волос,
Бушуют волны подо мной,
Но слышу я один лишь голос
И вижу свет звезды одной.

Максим Танк рассказывает:

— Как-то под вечер к нам пришел Герасим. Принес кучу новостей из города, несколько корреспонденций и заметку о сезонных рабочих. Больше тридцати тысяч их выезжало в прошлом году из Виленщины в Латвию. Дворников замерз и присел погреться возле печки. Только тут и вспомнил, что целый день ничего не ел.

Мы попросили Любину мать, чтобы она купила что-нибудь перекусить. А она приготовила такой обед, какого никто из нас давно не видел: суп с хлебом, картошка с рубцами и чай.

На одном из заводов началась забастовка. Хозяева этого предприятия ни за что не хотели иметь у себя профсоюзную организацию. Трое членов КПЗБ, пытавшихся ее создать, были просто уволены. Тогда в борьбу включилась вся ячейка. Она развернула массовую политическую агитацию. Чтобы помешать набору штрейкбрехеров, поднялись все. Партийные и другие организации, рабочие всех национальностей объединились. Деспотическая воля предпринимателей была сломлена. Был не только создан профсоюз и восстановлены уволенные активисты, но и повышена заработная плата, введены коллективные договора. Это была победа единого фронта. Она окрылила всех рабочих, в ходе борьбы поддержавших забастовщиков.

Герасим был в центре этой борьбы. Он встречался со стачечным комитетом, писал для него листовки.

Единый фронт — было властное и неудержимое требование времени. Только единый фронт всех трудящихся мог дать отпор хозяевам и полиции.

А недалеко нагло и цинично, окопавшись в самом центре Европы, шагал фашизм. Он захватил Италию. В страну топора и виселиц превратил Германию. Самым беспардонным образом использовал он разобщенность рабочего класса. И бил по частям.

В этой обстановке как никогда необходимо было сплочение всех антифашистских сил, всех рабочих партий. Сплочение всего, что было способно драться с фашизмом.

ПОБРАТИМЫ

Преподнося урок за уроком, жизнь все сильнее и настоятельнее диктовала необходимость создания единого фронта борьбы. Об этом свидетельствовали, в частности, события в Германии, Австрии, а также во Франции, где 6 февраля 1934 года французские фашисты хотели применить «парижский вариант» поджога рейхстага. Идеи единого фронта вызревали в широких народных массах.

Коммунисты Польши, КПЗБ, как и коммунисты Испании и Франции, искали формы объединения с другими партиями рабочего класса и крестьянства, со всеми, кто был способен активно бороться с фашизмом. Они начинали с малого — с совместных митингов в защиту политзаключенных, активно поддерживали те требования социал-демократических партий, которые отвечали интересам рабочего класса. Это укрепляло прогрессивный революционный лагерь, сплачивало единство широких народных масс.

И это усиливало тягу всех рабочих партий к единому фронту, вместе с коммунистами.

Уже в июне 1934 года в обращении к Французской компартии Коминтерн ориентировал ее на единый фронт. В нем содержался призыв к сотрудничеству со всеми партиями и группами, кто способен, независимо от конечных целей, сегодня бороться с фашизмом. Усиленные единым фронтом, коммунисты наносили концентрированные удары по фашизму.

Вся политическая деятельность Компартий Польши и Западной Белоруссии уже к началу 1935 года практически проходила под знаком воплощения идеи единого фронта.

В этих условиях в мае 1935 года собрался Второй съезд КПЗБ. В Советский Союз приехали Павлик (Малько), Герасим и Бронислав Марек (Шлейфман).

Самуил Никитович Малько — ветеран коммунистического подполья Польши и Западной Белоруссии — в беседе со мной рассказал:

— С Герасимом я был уже знаком. Первый раз встретил в мае 1934 года. Он был в руководстве комсомолом Западной Белоруссии, а я только что вышел из польской тюрьмы. Встретились мы в Варшаве, в сквере перед магистратом. Я рассказал ему о жизни польской молодежи, а Герасим — о работе комсомольского подполья Западной Белоруссии. Первое впечатление о нем было так себе. Простой и скромный, немного стеснительный, не очень разговорчивый, даже флегматичный. У него, казалось, не было того огонька, который так необходим комсомольскому работнику.

От Малько я узнал, что, встретившись с Герасимом во второй раз, он увидел как бы другого человека. Он умел слушать, схватывая главное, загорался и зажи-

гал других, широко, можно сказать, отважно мыслил. Очевидно, это мнение о Дворникове сложилось у Малько после многих с ним встреч. «Когда мы с ним в начале 1935 года приехали в Советский Союз, — писал мне Малько,— Герасим в моих глазах был ценнейшим работником и хорошим товарищем. Он не имел в жизни других интересов, кроме интересов революционного дела».

В Минске Герасим, Марек и Малько жили коммуной. Они готовили материалы для съезда, решали массу технических вопросов. Уставали, конечно, очень. И тогда Герасим устраивал разрядку — поход в театр, на концерт, вылазку за город. Потом опять садились за работу.

А когда Бронислав Марек влюбился в Ниночку Мартынову, то организаторами веселой свадьбы были Дворников и Николай Масловский.

Замечательный товарищ и храбрый боец, Бронислав Марек погиб в 1941 году, в первый день Великой Отечественной войны. А Нина Захаровна Мартынова, ныне заслуженный врач республики, безвыездно живет и работает в деревне Дудичи, Гомельской области. Люди едут к ней за помощью не только из других областей, но и из других республик.

Наконец работа по подготовке съезда была закончена. Тридцать четыре его делегата представляли семитысячный отряд членов КПЗБ. Большая половина его тогда томилась в тюрьмах и лагерях. Многие из участников съезда тоже успели побывать там. О некоторых ходили настоящие легенды. Герасиму вспомнился рассказ Н. С. Орехво о побеге из-под ареста Юлиана Ленского — Лещинского. Сейчас Ленский отчитывался о работе Коммунистической партии Польши. Внимательно слушали его делегаты, трудными тропами добиравшиеся сюда. Слушали представители ЦК КП(б)Б и правительства Белоруссии.

Обрисовав обстановку, Юлиан Ленский сказал:

— Если раньше мы лишь проповедовали единый фронт, агитировали за него, то сейчас в целом ряде мест практически и с успехом его осуществляем.

На съезде развернулась острая дискуссия. Работа в деревне, национально-освободительное движение, теория и практика единого антифашистского фронта —

эти и другие вопросы были в центре внимания съезда.

Герасим симпатизировал Стефану Скульскому. Видел, как остро реагирует он на речь представителя Коминтерна Василя Коларова. Сидя в президиуме, Скульский что-то быстро и нервно писал. У него сломался карандаш. Он его откинул, взял другой.

Смысл речи Коларова сводился к тому, что сейчас надо коренным образом менять тактику работы в деревне.

Бойкот налогов, вооруженные выступления против агентов финорганов были уместны в начале двадцатых годов, когда в крае кипело партизанское движение. Тогда земля буквально горела под ногами помещиков и многие из них бросали имения, уезжали в глубинную Польшу. Сейчас обстановка изменилась. Выдвигая старые лозунги, создавая острые ситуации, мы только теряем лучшие наши кадры и отталкиваем от себя известную часть крестьян.

— Сейчас мы должны организовать борьбу крестьянских масс на основе конкретных требований,— говорил Коларов.— Надо бороться за снижение налогов, освобождение от них малоземельных крестьян, за снижение арендной платы, ликвидацию бесплатных отработок, добиваясь в каждом случае успеха и сплачивая крестьянские массы на борьбу за лучшую жизнь.

И когда Коларов закончил выступление, Скульский сразу же взял слово.

Герасим внимательно следил за речью Скульского, возражавшего Коларову. Он настаивал на сохранении старой тактики в деревне. Скульский мотивировал это тем, что такие выступления сохраняют революционный огонь и ненависть против захватчиков, привлекают к нам новые революционные кадры.

Но как Герасим ни сочувствовал Скульскому, он понимал: новая обстановка, единый фронт с другими партиями требуют новой тактики.

Василиса Семеновна Селивоник — делегат Второго съезда КПЗБ — вспоминает, с каким волнением и партийной страстью выступил на съезде Герасим. Как темпераментно говорил он о событиях в Кобринском повете Брестского округа в августе 1933 года! Почти каждая крестьянская семья дала тогда кого-либо для участия в этом выступлении.

В перерыве Герасим подошел к Селивоник, положил руку на плечо, улыбнулся:

— Как живешь, Таня?

Она удивилась его памяти. Вспомнила, что в 1933 году в Бресте она действительно была «Таня».

— Теперь я «Маша»,— улыбаясь, сказала она.

— Ну, Маша так Маша. Главное, что ты здесь.

А муж Тани-Маши Иван Селивоник в это время томился в польской тюрьме.

Многие делегаты съезда, в том числе Ленский, Корчик, Скульский, Блинчиков, Масловский, Орехво, Семеников, Федосюк и другие, с которыми Герасим встречался по работе, были его побратимами. Их побратали общее дело и общие опасности. Это были люди особого типа. Постоянное напряжение, жизнь в центре борьбы выработали у них братские отношения и подлинную демократичность, без которой немыслимо практически делать революцию.

Давно прошло уже то время, когда Дворников удивлялся такой необычной и резкой перемене в своей жизни. Ушли и мысли: «По заслугам ли я на этой работе?» Сейчас он чувствовал себя равным среди равных в том смысле, что он, как и все они, в трудную минуту не посрамит имени коммуниста.

Может быть, именно поэтому Николаю было так хорошо, так свободно и легко дышалось.

Речи товарищей, споры и дружеские беседы по вечерам наполняли его каким-то особым, возвышенным чувством. Тут была и привязанность к друзьям, сознание важности дела, которое они все вместе делают, и вследствие этого чувство особой полноты жизни. Как гетевский Линкей, он мог пропеть: «Вся жизнь мне по нраву, и я с ней в ладу». Словно стихи, мысленно повторял он ленинские слова: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению...»

О работе комсомольских организаций на съезде докладывал Масловский. Как и Герасим, он хорошо знал молодежь края, успехи комсомола и недостатки в его работе. Масловский развернул яркую картину кипучей борьбы рабочей, крестьянской, учащейся молодежи

против эксплуататоров. Делегаты как бы увидели ночные встречи, работу связных, несущих в массы директивы партии, забастовочных комитетов, дежурство пикетчиков, горячие схватки с полицией. Не с пустыми руками пришел комсомол к съезду и в вопросе создания единого антифашистского фронта. Примеров было сколько угодно.

Виленский окружной комитет комсомола обратился к молодым рабочим, крестьянам и учащимся с воззванием:

«Друг нашей мятежной юности, дай руку! Все равно кто ты — рабочий, безработный, сын селянина, студент, ученик школы. Дай руку, пойдем вместе. Если ты против оккупантов, против пыток в застенках фашистских тюрем, против безработицы, против правительства войны и голода — ты нам друг, товарищ, брат. В Международный юношеский день пойдем с нами на демонстрацию».

И молодежь откликалась, выходила на улицу.

В марте 1934 года комсомол Западной Белоруссии организовал однодневную забастовку учащихся за право обучения на родном языке. В одной из распространенных комсомолом листовок говорилось: «Учащаяся молодежь, дети различных национальностей! 23 марта — день общей школьной забастовки Западной Белоруссии за обучение на белорусском языке, против милитаризации, полонизации, фашизации в школах...»

Дети трехсот школ, придя на уроки, не занимались.

Комсомол Западной Белоруссии поработал много. Но сегодняшний день требовал решения новых задач в более широких масштабах, и съезд записал: «Тактику единого фронта в молодежной среде... следует применять с особой смелостью и размахом».

НА БОЛЬШОМ ФОРУМЕ

Это было так некстати. Герасим заболел. Еще 18 мая чувствовал себя неважно, а на следующий день его отправили в Москву. Преодолевая в больнице недуг — то ли результат инфекции, то ли нервного переутомле-

ния,— он снова перебирал в памяти события последних дней. Каждый час съезда был по-своему интересен и важен.

Он не мог забыть, как встретили делегаты выступление первого секретаря ЦК КП(б)Б Николая Федоровича Гикало, с каким волнением все его слушали.

— Коммунисты Советской Белоруссии отчитываются перед вами, нашими братьями, стоящими на переднем крае революционной борьбы, о проделанной работе за последние годы,— сказал Н. Ф. Гикало.

Он стоял плотный, кряжистый, большой и поблескивал очками. Говорил вроде бы простые слова. Приводил цифры, выражающие итоги работы коммунистов, рабочих, крестьян и интеллигенции Белоруссии. Но они волновали Герасима. Как и большинству делегатов съезда ему был известен путь этого человека. Его хорошо знали народы Кавказа. Это он поднял их на борьбу за Советскую власть.

Гикало не был кавказцем. Революция надела на него папаху, дала в руки винтовку. Двадцатилетний юноша стал во главе борьбы горцев за власть Советов. Его имя пугало князьков-феодалов и белогвардейцев, вдохновляло людей на подвиги во имя революции.

И вот он стоит перед коммунистами подполья и отчитывается. За пятилетку Белоруссия построила такие гиганты, как Могилевский комбинат искусственного шелка — первое химическое предприятие этой отрасли не только в республике, но и в Союзе. Такие мощные предприятия, как завод сельскохозяйственных машин в Гомеле и стеклозавод в Костюковичах, как Гомельский деревообделочный комбинат, мебельная фабрика в Минске, фабрика «Знамя индустриализации» в Витебске и другие предприятия.

Свое выступление Гикало закончил словами:

— Могу доложить вам, товарищи, что Белоруссия из края лесов и болот превратилась в цветущую индустриально-колхозную республику.

Делегаты встали. Как и Герасим, они увидели в словах Гикало свой завтрашний день. Конечно, придется немало поработать. Будет еще много трудностей, неизбежных потерь. Что ж, все великое, что завоевано человечеством,— результат его героического труда, лишений и жертв.

В конце июня Дворникова перевели в санаторий. Он вошел в норму, почувствовал себя хорошо. Стала беспокоить мысль: «Пора ехать». Там ждут его люди, большая работа. Но Глебов и работник Коминтерна Москвин в один голос сказали:

— Отдохни хотя бы с месяц. Крепче будешь.

И он отдыхал, читал, думал. Санаторий находился в березовой роще. Молодые березки располагали к покою, безмятежности. Не верилось, что есть на земле другая такая благодать, такая гармония белых стволов с зеленью и солнцем. А это было обычное, рядовое Подмосковье — пейзаж, характерный и для родной Николаю Белоруссии. Может быть, именно поэтому он так волновал его, так брал за сердце.

Но вот опять приехал Глебов.

— Как самочувствие? — спросил он.

— Замечательное,— ответил Дворников.

— Ну что ж, выписывайся. Поедем.

Николай шагает по улицам столицы, наслаждаясь ее спокойствием, деловитостью, высоким ритмом. В нем живет непередаваемое чувство свободы, полной раскованности. Он думает: «Как это замечательно, что можно ходить по улицам без напряжения, не волноваться за судьбу друзей, спать, не боясь проговориться во сне, не опасаться провокатора».

А они там, где он работал, были. Один из них — Стрельчук — действовал рядом. Две попытки обезвредить его ничего не дали. Негодяй предал много хороших людей и еще не выловлен. «Нужны люди. Ах, как нужны люди!» — в мыслях повторял Николай.

В Коминтерне Дворников встретился с Шайковским.

— Людей на округа?..— медленно проговорил он в ответ на просьбу Николая и задумался. — Один есть. Думаю, вполне справится. Правда, учебу еще не закончил. Но человек имеет опыт.

На другой день к Дворникову пришел худощавый парень. Представился: «Семен». Николаю он понравился. «Подходящий»,— подумалось ему. Новый знакомый был немногословен. На вопрос, долго ли еще учиться, ответил:

— Два года,— и скупо улыбнулся. — За этим ты меня и вызывал?..

— Верно, не за этим,— согласился Николай.— Нужны люди там, у нас.

— Понятно. А какая работа?

Дворников вкратце объяснил, потом добавил:

— Не новичок, разберешься. Встретимся.

«Один секретарь окружкома уже есть»,— подумал Николай.

— Могу ехать,— сказал он в скором времени Глебову. Это было 1 августа 1935 года.

— Поедешь через пару дней,— ответил Глебов.— А пока вот тебе гостевой билет на заседание Конгресса Коминтерна. Завтра утром выступает Димитров. Тебе будет интересно и полезно послушать его.

Дворников загорелся:

— Конечно!

Когда утром 2 августа он вошел в Колонный зал Дома Союзов, то пробраться к польской делегации, частью которой была КПЗБ, уже не смог. Зал был заполнен до отказа. Николай нашел место в боковой ложе, недалеко от сцены. Он хорошо видел всю свою делегацию. Они же, занятые беседой, его не видели. Все смотрели в президиум, где какая-то красивая женщина внимательно слушала молодого человека. На его худом, серого цвета лице играли пятна нездорового румянца.

— Долорес Ибаррури и Хосе Диас,— сказал кто-то сбоку.

Рядом с ними сидел Тольятти, а с другой стороны — Ленский. К председательскому месту пробирался Вильгельм Пик.

Склонившись над бумагами, около трибуны сидел коренастый человек с очень знакомым лицом. В руках у председательствующего зазвенел колокольчик. Пик предоставил слово Георгию Димитрову.

Что тут началось! Взволнованно, в едином порыве поднялся весь зал.

Послышались громкие, на разных языках слова приветствий. Стены старого Дворянского собрания давно не видели такого изъявления восторга и симпатий.

— Да здравствует бесстрашный обличитель фашизма! — донесся с задних рядов высокий женский голос. Его подхватили другие.

Делегаты выражали накопившиеся чувства всех честных людей мира к борцу, не побоявшемуся сказать

правду остервенелым фашистам и победившему в этом неравном поединке.

У Николая от волнения перехватило дыхание. Как счастлив он, что оказался в одних рядах с теми, для кого программой жизни, ее содержанием стало дело освобождения человечества. Восторженными глазами смотрит он в зал. Сколько их здесь? А сколько на боевом посту там?.. Немало томится в мрачных тюрьмах. Среди них и Регина Каплан, Ванда...

И Димитров, как бы перекликаясь с мыслями Николая, свое первое слово шлет им:

— С этой трибуны мы посылаем пламенный привет тем, кто томится в тюрьмах фашизма, в тюрьмах капитала! Мы посылаем пламенный привет вождю немецкого рабочего класса Эрнсту Тельману!

Снова гремят овации.

— Мы посылаем привет Тому Муни, 18 лет томящемуся в американской тюрьме,— продолжает оратор,— и всем товарищам, находящимся в казематах Германии, Польши, Италии, Испании и других стран мира. Братья по оружию, мы помним о вас!

Внимательно слушает зал, слушает Дворников, слушает и делает заметки Ленский. Затаив дыхание, слушают Скульский, Корчик, Масловский, Глебов.

Положив больную ногу на здоровую и забрав бороду в кулак, слушает Адам Славинский. В том году, когда Герасим родился, он вступил в социал-демократическую партию Польши, а в 1919 году был одним из организаторов Польской коммунистической партии. Потом руководил польской секцией Коминтерна. Сейчас Славинский работает в СССР, но на всех международных собраниях он рядом со старыми соратниками.

А доклад продолжается.

— Миллионы трудящихся в капиталистических странах,— чеканит слова Георгий Димитров,— спрашивают: как помешать приходу фашизма к власти? — Он делает паузу, и в это время становится так тихо, что, кажется, слышно биение сердец сидящих здесь людей.— Первое, что должно быть сделано, с чего необходимо начать — это создание единого фронта. Установление единства действий пролетариата на каждом предприятии, в каждом районе, сплочение трудящихся в национальном и международном масштабе — вот

могучее оружие не только для обороны, но и для успешного наступления против фашизма.

Единый фронт — мысли не новые. Николай слышал их на съезде КПЗБ. Но сейчас их высказывает Димитров. Они выношены им не только в Болгарии, но и стократно продуманы в камере одиночного заключения фашистской тюрьмы. Анализируя там события последних лет в Германии, он понял — отсутствие единства, разобщенность рабочего класса дали Гитлеру возможность устранить коммунистов, изолировать прогрессивные силы.

Димитрова слушают не только Ибаррури, Диас, Тольятти, а и представители коммунистических и рабочих партий других стран. В этом зале незримо присутствуют австрийские защитники баррикад, астурийские горняки, коммунисты Франции, сумевшие преградить дорогу фашизму, все честные люди мира.

Ночью, когда Герасим, устав от впечатлений дня, станет укладываться спать, его последней мыслью будет: «Завтра Киев...»

ПОКА Я ЖИВУ...

Поезд прибыл в Киев на рассвете. Николай вышел на привокзальную площадь в тот момент, когда большой багрово-красный солнечный шар вывалился откуда-то из-за дальних домов и обласкал землю своими первыми лучами. Вспомнилось, что мама когда-то говорила: «Кто с солнышком встает — того счастье ждет».

И оттого что первое, с кем он встретился в этом городе, было солнышко, стало легко и радостно. Он шел по спящему еще городу, и в утренней тишине гулко раздавались его шаги. Из скверов, садов и с балконов смотрела, сверкая каплями утренней росы, яркая, местами уже пожелтевшая зелень.

Вдруг его будто ожгло: а что, если Таня вышла замуж? Он понимал все неправдоподобие, всю нелепость этой мысли. Но ведь он сам сказал ей:

— Танечка, ты можешь устраивать свою жизнь как хочешь.

На вокзале она тогда горько улыбнулась. Так, что ему и сейчас стыдно.

— Коленька, ты ведь так не думаешь. Не надо...

Вспомнилось, что в прошлом году через товарищей отправил ей посылку. Один из них рассказал ему, что Таня жива, здорова, сын растет. А на его вопрос, не сказала ли она еще что-нибудь, немного растерявшись, ответил:

— Привет передавала.

Тот, кто передал ему, что Таня и мальчик здоровы, сам на Фундуклеевской не был. Другой человек — уже немолодой, с бородкой и грустными глазами, которого Таня просила передать, что любит и всегда ждет, не передал этих слов, считая, что в их положении они лишние.

И вот Николай опять на этой улице. Вот и дом со знакомыми колоннами. Пройдя дворик, он поднялся по ступеням. Сердце колотилось так, будто хотело выскочить из груди. Постучал сначала тихо, потом громче и вскоре услышал быстрые легкие шаги. Из-за двери спросили:

— Кто?

— Я,— ответил он.

— Коленька?!

Он услышал, как зазвенели ключи, дверь несколько раз дернулась и открылась.

— Коленька!..

Она притянула его к себе и, прошептав, что в проходной живет Оля с мужем, втащила в свою комнату.

— Коленька!..— Вся ее любовь и нежность, долгие годы ожидания, страх за жизнь любимого человека — все слилось в одном этом слове.

Они стояли у окна, и Таня, не отрываясь, смотрела на его измученное лицо, на тени усталости под глазами, на первую седину в волосах.

Вадимка сладко спал в своей кроватке и улыбался сквозь сон.

Наконец она сказала:

— Может, примешь душ с дороги? Только, пожалуйста, тихо.

А он смотрел в ее глаза, бесконечно любимые, единственные, целовал ее в губы и щеки, повторяя:

— Танечка...

Потом они тихо прошли через комнату Оли. Николай стоял под упругими струями и с наслаждением фыркал.

— Потише! Разбудишь Олю с Левой,— повторила еще раз Таня.

Но, перекрывая шум воды, из комнаты послышалось:

— Не разбудите, мы уже сами разбудились.

И навстречу им на кухню вышел плотный, спортивного вида парень.

— Лева,— представился он.

— Ого, спортсмен! — восхитился Коля, крепко пожимая протянутую руку.

— Борец первого класса,— сказала, сияя улыбкой, за его спиной Оля.— С приездом вас, Николай Николаевич.

Когда они вошли в Танину комнату, Вадимка уже успел надеть штанишки и натягивал на босые ноги сандалики. Он стоял, задрав вверх голову, и удивленно рассматривал незнакомого дядю. А Таня, вся сияющая, праздничная, нагнулась к нему и сказала:

— Ваденька, это наш папа, твой папа.

— Мой? — Мальчик робко поднял глаза.

Николай схватил его, поднял и с такой любовью и нежностью прижал к себе, что сердце мальчика, покоренное этой незнакомой ему мужской лаской, сразу поверило словам матери.

— Я пойду на кухню,— сказала Таня,— приготовлю завтрак.

Но оттуда послышался голос Оли:

— Не извольте беспокоиться, сударыня. Завтрак сегодня будет приготовлен без вашего участия, и притом царский. Вот только не знаю, достанет ли мой Левка мужское снадобье.

Радостное настроение передалось и подруге Тани.

Но больше всех рад приезду дорогого гостя, конечно, Вадимка. Еще бы! Когда мама рассказывает ему на ночь сказки, в них всегда действует папа. То он уничтожает жестоких драконов, то спасает детей от бабы-яги. Но одно дело папа в сказке и совсем другое — настоящий, которого можно обнять, который может, как другие папы, взять его за руку и повести в садик. А вечером прийти за ним.

Не успели они как следует рассмотреть папины подарки, как раздался голос Оли:

— Милостивые государи, завтрак подан. Снадобье тоже. Садика сегодня не будет, и мама на работу не пойдет. Поручите уж это устроить мне. Вот так.

Хорошая Оля подруга, настоящая. А Таня тревожными глазами смотрит на Николая: «Надолго ли ты?..»

И он говорит:

— Я, Танечка, неделю здесь пробуду. У нас в Москве совещание было.— И чтобы отвлечь:— Знаешь, Таня, я на Конгрессе Димитрова слушал...

— Что ж, спасибо судьбе и за это,— тихо сказала она.

— Не надо, Танюша.— Он потемнел лицом. Она заметила это и поняла, что с ним происходит. Сердцем почувствовала, как ему трудно: «Я с Вадиком, а он?..»

— Нет, что ты, родной,— она заглянула ему в глаза.— Что ты, милый. Это такое для нас счастье! Оля, как ты думаешь — в счет отпуска недельку мне дадут?

Они завтракали, и Вадим сидел за столом рядом с отцом. Потом он заставил Николая пойти с ним в детский садик, чтобы все могли видеть его папу. Коренастенький, похожий на мать, он семенил рядом, держась за отцовскую руку, и гордости его не было конца.

Неделя пролетела как один день. Опять вокзал.

Поезд уходил ночью. Провожали Николая всей квартирой. Оля с Левой постояли рядом, потом отошли в сторону. До отправления оставалось еще немного времени. Коля смотрел Тане в глаза, а она, стараясь побороть волнение, говорила:

— Коленька, за Вадима и за меня будь спокоен. Знай, что у тебя есть дом, жена и сын, которые тебя любят.— Таня сжала своей маленькой рукой его пальцы и продолжала:— Любят больше жизни и ждать будут столько, сколько надо.— Она коротко вздохнула и, глядя в глаза Николая, сказала: — Всю жизнь, всю жизнь!

— Граждане пассажиры, занимайте свои места,— услышали они чей-то громкий голос.— До отправления поезда Киев—Ленинград осталась одна минута.

Рядом уже стояли Оля и Лева. Оля быстро говорила:

— Будь спокоен, Николай, у Тани верные друзья.— И Левка, в знак согласия с этим, смущенно кивал головой.

Медленно, словно нехотя, тронулись вагоны, и проводник, усатый дядька, крикнул Николаю:

— Садитесь!

— Коленька, пора,— сказала Таня, и он на ходу вскочил на ступеньки проходящего мимо вагона.

На улице Петровского не ждали, хотя в этом маленьком домике давно уже научились ждать. И вот новая встреча. На этот раз он приехал во второй половине августа, в саду дозревали яблоки. Когда на рассвете раздался стук в дверь, Марию Антоновну будто что ударило в сердце.

— Коленька приехал! — всплеснула она руками.

Все поднялись. Мария Антоновна заглядывала сыну в глаза. В них отражались усталость и грусть.

Спросила:

— Худой ты какой-то. Болел?..

— Теперь здоров,— ответил он.

Увидела седину на висках и подумала: «Уже седой». Поправила ему ворот рубашки, потрогала волосы и все суетилась, бегала из кухни на чистую половину, чтобы еще раз посмотреть на своего Коленьку. «Тоже рад отчему дому. Соскучился. Любит он нас»,— думала Мария Антоновна.

А он ходил по комнатам, смотрел, гладил корешки знакомых книг. Взял с полки «Овода», улыбнулся: «Привет, старый знакомый!» Подумал: «И мы, брат, кое-что делаем...»

Спросил мать:

— За книгами приходят?

— Ходят,— ворчливо сказала Мария Антоновна.— Только в дом, и, кроме этого, больше вопросов нету.

— А ты, мама, не ворчи. Я ведь тебя знаю — ты хорошая.— Он обнял ее худенькие плечи.

Она глядела на него и не могла наглядеться. Не выдержав, с тревогой спросила:

— Надолго ли?

Боялась, вдруг скажет — завтра уезжаю.

— Недельку побуду,— ответил он так же, как и в Киеве.

Вася, конечно, подсел со своими вопросами. Его интересует: работает брат или учится?

— Сосед наш говорит, что ты в институте внешней торговли.— Он заговорщицки подмигнул: знаю, мол, какой это институт. Потом попросил: — Расскажи о своей работе.

— Трудная у него работа,— ответила вместо Николая Мария Антоновна.— Даже виски поседели.

А Вася опять со своим: расскажи...

Задумался Николай — о чем рассказать? О полных тревоги днях и ночах в Вильно? О Кобринском восстании крестьян?..

— Пойдем лучше, Вася, в сад,— предложил старший брат.

Двадцатилетний Вася — студент политехнического института — ростом повыше Николая.

Вася трясет яблоню, а ему жаль ее, просит сильно не раскачивать, чтобы не сломать веток. Разговор между братьями входит в русло отвлеченных тем.

Вскоре Вася и Катя уезжают, а он ходит по дому и саду, наслаждается тишиной. Часто ходит на почту — отправляет посылки.

В июне 1969 года Мария Антоновна говорила мне:

— Теперь я понимаю — в Киев посылал, а тогда... В семью-то я не поверила. Через несколько дней говорит мне:

— Я, мама, в сквере буду, где стадион сооружают.— Посмотрел свой чемоданчик. Все туда аккуратно сложил: костюм, белье, щетку, зубной порошок. Вынул из-под них советскую книжку и, поставив чемоданчик у дверей, сказал:

— Если будет телеграмма — все готово.— И, как бы предупреждая ее вопрос: — Понимаешь, мама, может через неделю, а может завтра должна быть телеграмма.

Николай сидел в садике с книгой, а перед его мысленным взором проходили совсем другие картины. То возникала Москва, Конгресс, Димитров, то — Киев, Таня, Вадик, перрон ночного вокзала.

Через несколько дней почтальон принес телеграмму. Мария Антоновна сразу же понесла ее сыну — не

подводить же Коленьку. Понимала, что это его жизнь. Он взял телеграмму и быстро пришел домой.

— Ты бы, Коля, пообедал,— сказала Мария Антоновна.

— В дороге, мама, сейчас не хочется.— Он обнял ее.— С папой на вокзале попрощаюсь.

Мария Антоновна проводила его до калитки. Хотела идти дальше, но сын остановил.

— Не надо, мама.— Улыбнувшись, как всегда в таких случаях, сказал: — Долгие проводы — лишние слезы...

А она не послушалась, тихонько пошла за ним до Батарейной, смотрела вслед. Так и запомнила его: идет по Батарейной, помахивая чемоданчиком. Слезы застилали глаза, в горле застрял горький комок. А она все стояла и смотрела — думала, обернется. Но он шел не оборачиваясь.

Не знала Мария Антоновна, что привычка не оборачиваться выработалась у сына там, в подполье, и принадлежала уже не ее Коле, а товарищу Герасиму. Получив телеграмму, он спешил в Минск, где у него было много разных дел.

В Минске на вокзале Николай случайно встретился с другом детства Сашей — Александром Яковлевичем Губановым, работником одного из лесничеств.

— Ну как ты, где ты, что ты? — спрашивал Саша. Они вглядывались друг в друга, и на устах у обоих застыл немой вопрос: «Как-то твои мечты, друг?..»

Последний раз они виделись в 1925 году, летом. Саша встретил Колю в знойный день с рабочей курткой в руках. Он шел усталый, но довольный. «Вот Горелое болото ликвидируем. Тут такое будет!..» — сказал тогда Николай.

А потом они шли к Залинейному и говорили о жизни, какой она должна быть.

Губанов смотрит на друга и повторяет:

— Как дела, где ты работаешь?

— Неплохие,— отвечает Николай.— А работаю — там...

— Там? — не понял Саша.

После, всмотревшись в его облик и уловив направление жеста его руки, обожженный внезапно осенившей его догадкой, сказал:

— Значит, там?..

— Там,— подтвердил Николай.

— Решаешь вопрос: кто кого?

— Этот вопрос решен историей, Саша. Мы только посильно ей помогаем.

Но тут подскочил носильщик и, обращаясь к Губанову, укоризненно сказал:

— Я вас, товарищ, по всему вокзалу ищу. Через три минуты уходит ваш поезд.

Он отдал Губанову чемодан и ушел. Друзья распрощались.

Это было его последнее свидание с другом юности, торопливое прощание с прошлым.

— Больше я его не видел,— рассказывал мне потом Александр Яковлевич.— Под размеренный стук вагонных колес я думал: «Значит, воплотилась, Коля, в жизнь твоя мечта». Радостно было за него и больно. И такими маленькими показались мне моя мечта и работа рядом с тем делом, которое делал он.

СНОВА ПО ТУ СТОРОНУ

В поезд Николай сел в Молодечно. Его уже не удивляли небольшие, не сообщавшиеся друг с другом вагончики. И хотя он только что вернулся из СССР, где все было иным — и вагоны, и люди,— он по-хозяйски осмотрелся и, заметив пожилого благообразного еврея, любезно с ним поздоровался. Тот ответил, и между ними завязался непринужденный дорожный разговор.

Попутчиком Николая Дворникова оказался видный виленский купец.

— Мое имя люди, слава богу, знают: Слуцкис Исаак Абрамович. Владелец магазина на Гедеминовской.

Николай сказал:

— Слышал.— И, в свою очередь, рассказал попутчику, что отец его землевладелец и что он закончил недавно учебное заведение, но к земле его не тянет. Особенно здесь, на границе с востоком.

— С востоком? — переспросил сосед.

— Да, где не всегда спокойно,— пояснил Николай.

— Какое уж там спокойствие,— согласился старик.

И посоветовал:

— Займитесь коммерцией. Выгодно, благородно и вообще для нынешнего времени это самая лучшая деятельность. Для начала надо немного, а там получите кредит.

— Для начала у меня кое-что есть,— сказал Николай.— Главное, чтобы честных людей встретить.

— Верно, это главное. Ну, с людьми я вас познакомлю.

Пожилому торговцу явно приглянулся этот аккуратный и такой любезный молодой человек. Нынешняя польская молодежь развращена, довольно-таки грубовата.

Когда беседа угасла, старик задремал. Поезд подходил к Сморгони. Дверь вагона открылась, и Николай увидел: рядом с двумя жандармами стоял шпик. Цепким профессиональным глазом он оглядывал пассажиров. Взгляд его на какое-то мгновение остановился на Дворникове. Выйти? Некуда. Николай незаметно толкнул старика. Тот проснулся, а он сказал:

— Простите, господин Слуцкис, я вас нечаянно толкнул.

Лицо молодого человека выражало такое огорчение, что старик рассмеялся:

— Подумаешь, тоже мне несчастье,— и, положив на плечо Николая руку, стал рассказывать ему сон, который только что видел.

Увидев эту лирическую картину, шпик приложил два пальца к шляпе, приветствуя известного ему господина Слуцкиса, и закрыл дверь.

Кончился этот дружественный вагонный разговор тем, что торговец дал Николаю свой адрес. А когда они приехали в Вильно, молодой человек взял чемодан своего нового знакомого и, вежливо поддерживая его за локоть, вышел в город. Отойдя немного от вокзала, они разошлись.

С широкой, оживленной улицы Николай свернул в сторону и попал в узкий переулок. Внимание его остановило мрачное, закопченное пылью веков здание Бернардинского монастыря. Он с любопытством рассматривал серые, покрытые мхом стены. Как-то Женя Скурко

рассказал Николаю, что в этом здании томились участники восстания 1863 года и что вместе с ними сюда был заточен Кастусь Калиновский. «И вот теперь потомки тех, кто когда-то выдал царским опричникам вождя крестьянского восстания, на всех перекрестках лицемерно орут, что они его идейные наследники»,— думалось ему.

Сзади будто послышался шорох. Николай оглянулся: никого. Надо идти... Долго стоять на одном месте нельзя. До встречи с Ирой оставалось еще около двух часов, и он вышел к Гедеминовской.

Его поразило здесь необычное оживление. По тротуарам, возле некоторых магазинов, шагали мордастые мужчины и что-то злобно выкрикивали. В руках у них были прикрепленные к палкам картонки, на которых было написано: «Не покупайте у евреев!» Какая-то пожилая женщина, брезгливо глядя на этих молодчиков, шла к одному из таких магазинов.

— Ай-ай-ай,— начал стыдить ее один из пикетчиков,— полька, а куда идет.

— Дур-рак! — четко, по слогам выговорила она и решительно направилась ко входу.

Один из мордастых схватил ее за плечо.

— Не надо,— сказал другой,— пущай ползет, если она...— Он отпустил циничное ругательство.

Вечерело, и в сумерках сгущалась, накапливалась тревога. Где-то послышался женский крик, звон разбитого стекла. У остробрамской божьей матери стояли с узлами пришедшие из деревень крестьяне. Жалкие, изможденные, они принесли сюда свои болезни и муки, последние надежды и последние гроши. Николай вспомнил слова Максима Танка: «Веселая у нас страна — ночами режут, днями замаливают грехи...»

Еще издали он увидел небольшую стройную фигурку Иры. Она незаметно кивнула, и он пошел следом за ней. Через несколько минут она привела его на квартиру.

В небольшой комнатке было двое: «Аркадий» (Притыцкий) и «Семен» (Шварцман), с которым Николай недавно познакомился в Москве. Половину комнатки занимала узенькая коечка. Рядом с ней стояла табуретка. Чтобы подойти к окну, табуретку надо было поднять. В комнатушке было холодно.

«Не просторно им тут», — подумал Николай и спросил:

— Ну, как живете?

— Неплохо,— ответили они в один голос.

— А где же ночует Ира?

— Иногда у сестры, а иногда у подруги,— ответила она.

— Когда разъедетесь, будет просторнее,— заметил Николай.

— А нам не тесно,— сказал Аркадий.

— Как жизнь, Ира? — спросил Николай, улыбаясь.

Ответ он знал заранее: у Иры никогда не было плохой жизни. Вот и сейчас она сказала то же самое:

— Жизнь на нитке, а думаем о прибытке.

Все рассмеялись. Аркадий сказал:

— От «хвоста» отрываться научилась. Так что жизнь хорошая.

— Что ж, рассказывай, Ира, что у вас тут делается.

Николай знал Иру давно. Она была связной ЦК. Все встречи и явки шли через нее. Смуглая, с милым, почти детским лицом девушка была дочерью рабочего-спичечника. Она успела познать и «радость» сиротского дома и тяжелый подневольный труд на фабрике. В семнадцать лет стала комсомолкой, а в двадцать была осуждена польским судом на три года за антиправительственную деятельность. Отсидела их в седлецкой тюрьме. Она была опытным подпольщиком и верным товарищем.

После рассказа о делах Ира сделала грустное лицо и, стараясь всех разжалобить, произнесла:

— Не могу не сказать и то, что нашу родину постигло большое горе. Умер Пилсудский.

Раздался смех, все оживились.

Николай еще на съезде, в мае месяце, слышал об этом, но Ира с таким удовольствием это рассказывала, что весть воспринималась как новая.

А она продолжала:

— Все начальство сейчас страшно огорчено — на носу выборы в сейм. ЦК нашей партии обратилось ко всем оппозиционным партиям с предложением единого фронта. Мы думали использовать выборы как трибуну

против пилсудчиков. Но все другие партии постановили бойкотировать их. Что нам было делать? Не срывать же единого фронта. Мы включились в общую борьбу. Начнешь работать,— обратилась она к Николаю,— сам увидишь. Дел много, да еще и провокатор орудует,— грустно закончила она.

— До сих пор?..

Аркадий и Семен насупились.

— Да,— ответила Ира.— В Белостоке пытались его убрать, но ничего не получилось. Прямо на улице схватил Ванду, обнаглел. Имеем большие потери.— И добавила: — На многих местах работают новые люди.

Николай задумался: «Не густо».

Наступила пауза, все замолчали.

— Поедешь в Слоним,— тихо сказал Николай, обращаясь к Аркадию.— Посмотришь все на месте. Ведь он работал там.

«Он...— думал Николай, вскипая гневом.— Ведь встречал, видел его бегающий взгляд. «Нервный какой»,— думалось тогда. Как я промазал этого негодяя?.. Кто-то сказал: здоровое недоверие — основа здоровой работы. Но как же жить без доверия?..»

— Ну, а теперь послушайте меня,— сказал Николай. И начал рассказывать о Москве, о Втором съезде КПЗБ, о Конгрессе Коминтерна и выступлении на нем Георгия Димитрова.

Через тридцать лет после этой встречи мы сидим в Гродно, на улице Элизы Ожешко, 15, на квартире Лазаря Шайковского. Того самого, который рекомендовал Дворникову в Москве «Семена» — Самуила Шварцмана.

Бася Кнубовец вспоминает:

— Казалось, что мы много раз подходили к этому ларчику. Каждому было ясно, сколько вреда приносила разобщенность рабочего движения. Единый фронт— какие он открывал горизонты! Это был выход на широкий простор политической жизни. В глубине души мы и сами понимали неправильность старой тактики. Видели, какие глубокие сдвиги происходят в сознании людей, находившихся в плену самых отсталых, националистических взглядов. Это ведь на наших глазах выведенные против рабочих стрельцы — члены созданной правительством полуфашистской организации — отка-



Мария Антоновна Дворникова.



Николай Иосифович Дворников.



Николай Дворников с братом Васей. 1925 год.



Екатерина Николаевна Дворникова.

Дом в Гомеле, где в 1912—1930 гг. жил Н. Дворников.



Николай Дворников. Май 1932 г.



Николай Семенович Орехво.



Николай Павлович Масловский.



Сергей Осипович Притыцкий. Фото на листовке ЦК КПЗБ. 1936 г.

Максим Танк (Е. И. Скурко). Фото Виленской полиции. 1932 г.



Сарра Хацкелевна Левина.



Бася Давидовна Кнубовец.



Иван Федорович Семеников.



Александра Ивановна Федосюк.

Василиса Семеновна Селивоник. Фото Пинской полиции. 1936 г.



Иван Федорович Селивоник.



Лазарь Григорьевич Шайковский.



Самуил Яковлевич Шварцман.

Дворников Николай Николаевич,
под партийным псевдонимом в КПЗБ „Ге-
расим" принимал в 1933-1934 годах актив-
ное участие в революционном подполье.
Был секретарем Брестского окружкома
КСМЗБ. Находясь добровольцем в респуб-
ликанской Испании Дворников Н. Н. по-
гиб в бою на Эстрамадурском фронте
16-го февраля 1938 года.

Мемориальная доска на улице имени Николая Дворникова в Бресте.



Василий Петрович Ласкович.

Адам Семенович Славинский.

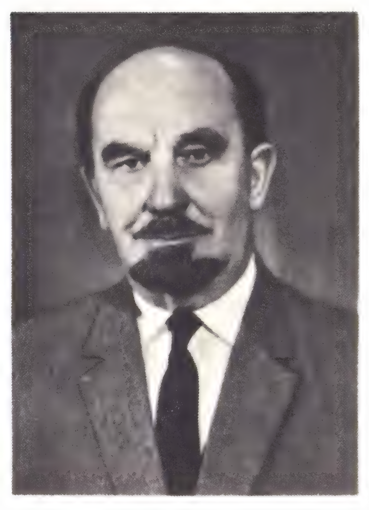


Дом В. П. Ласковича, где проходили собрания подпольщиков.





Самуил Никитович Малько.



Федор Борисович Пиришко.



Юлиан Ленский (Лещинский).



Николай Дворников перед отъездом в Испанию.

Хосе Диас.





Исаак Ефимович Брауэрис.



Александр Карлович Березин.



Иван Никифорович Нестеренко.



Ян Ткачев.



Николай Дворников в форме офицера республиканской армии Испании. 1937 год.



Семен Алексеевич Эйхер-Лорке.

Командир батальона им. Домбровского Ян Барвинский и комиссар Ян Рутковский.

Станислав Белецкий.





Борух Нисенбаум (Бобрус).



Михаил Кольцов и член правительства республиканской Испании Хуан Амбов.

зались стрелять в них. И тогда жандармы стреляли в стрельцов, во вчерашнюю опору Пилсудского и Мостицкого. Да, нужно было работать по-новому. Когда говорил Герасим, у нас расширялись горизонты, светлело в глазах. Стены нашей маленькой комнатки на Антоколе как бы раздвигались. Прошло много лет, и сейчас я понимаю, какой он был дальновидный. Как глубоко верил в дело и в людей, которые с ним работали. Как передать это? Слушая его, ты весь зажигался, чувствовал, как крепнут мускулы, глубоким становится дыхание, смелеет душа. Помню, я посмотрела на Аркадия и Семена: лица их раскраснелись, глаза горели.

Бывшая подпольщица рассказала мне, как Герасим возбужденно ходил по маленькой комнатке, и простые, на первый взгляд, решения Конгресса, одетые в плоть примеров и фактов из их повседневной работы, становились могущественным, грозным оружием. Единый фронт в эмоциональном рассказе Герасима был необходим им как воздух. Он не приукрашивал действительность, не скрывал трудностей — инертность в сознании масс, опасную силу сектантских привычек, хитрость и злобное коварство врага.

Нужно было еще много и терпеливо работать.

— Мы это хорошо понимали и были к этому готовы,— заключила Кнубовец.— Жизнь показала — мы кое-что сделали. Уже первомайские демонстрации 1935 года показали силу единого фронта. Потом мы разъехались. Аркадий стал секретарем Слонимского, Семен — Гродненского окружкома, а я — секретарем Гродненского горкома комсомола.

Выборы в сейм показали полную неавторитетность наследников политики Пилсудского. По стране голосовало только 46,4 процента имевших право голоса. Полиция и организаторы «свободных» выборов в Западной Белоруссии переусердствовали так, что по Полесскому воеводству, имевшему 356 374 избирателя, за правительство «голосовало» 425 228, т. е. на 68 854 человека больше, чем здесь проживало.

Все эти дни Герасим был в работе. Связные регулярно докладывали о подготовке, а потом о ходе выборов. Во многих промышленных центрах страны помещения

избирательных пунктов пустовали. Это была ощутимая победа единого антифашистского фронта.

А правительство свирепствовало. Была репрессирована новая группа «левицы». Арестованных: Ендриховского, Петрусевича, Урбановича — Николай знал, встречался с ними. Реакционная польская печать негодовала: «Щупальца востока захватывают лучшую часть молодой польской интеллигенции!»

По стране прокатилась волна забастовок. К прежним требованиям добавляется решительное: «Амнистию политическим заключенным!» Вокруг этого требования объединяются все партии. Под напором масс в январе 1936 года правительство вынуждено объявить амнистию.

БЕЗ СТРАХА

— Герасим приехал ко мне в Гродно с Семеном. С ним он дружил. Сене показалось, что за ними установлена слежка. Надо было заметать следы. Мне было приказано через три недели быть в Вильно,— продолжала рассказ Бася Кнубовец.— Я ответила, что имею к Герасиму просьбу. Прошло много лет, но я должна сказать, что вряд ли обратилась бы с такой просьбой к другому секретарю ЦК. Не принято было в подполье обращаться с просьбами подобного рода. Первый закон конспирации — не усложнять работу. Но я знала Герасима, и у меня не было выхода. Я сказала: «Прошу следующий мой отчет принять не в Вильно, а в Варшаве».

— Но это невозможно,— ответил Герасим.— И зачем это тебе?

— Иосиф Урбанович выходит из тюрьмы.

— Понятно,— протянул он.

— Иосиф был моим мужем,— пояснила Кнубовец.— В результате большой политической кампании, проведенной уже единым фронтом, мы добились частичной политической амнистии. Всем приговоренным к десяти годам тюрьмы срок сокращался на одну треть. Из шести лет Урбанович отсидел пять. Но это не мало — выйти на волю раньше на год. Знаете нашу жизнь: то он в тюрьме, а я на воле, то наоборот. Но за-

то, когда вместе — какое это счастье! Это бывало так редко...

— А где же Иосиф Урбанович сейчас? — спросил я.— Мне вроде это имя знакомо.

— В войну командовал партизанским отрядом в наших краях и погиб. О его боевых делах знают многие,— ответила она.— Но вернемся к Герасиму. Он думал, а я его уговаривала: «Я тебе дам в Варшаве исключительно чистую явку. Мой двоюродный брат — модный фотограф. У него бывает много людей...»

— Хорошо,— сказал Герасим. И следующий отчет он принял от меня в Варшаве.

Я смотрю на эту женщину и удивляюсь. Перед ней прошло в те годы столько людей подполья. Это были члены ЦК, люди из Западной Белоруссии и Польши. Она была связной, и все связи руководства подполья с округами и Варшавой шли через нее. Она видела много смелых людей, но Герасим ей запомнился больше всех. Видимо, потому что в нем сочетались мужество и доброта.

— Это было в 1936 году, в Белостоке,— слушаю я опять неторопливый рассказ.— Как-то утром я ждала Розеншейна. Только он пришел, и в это время во дворе появилась полиция. Ко мне зашел хозяин квартиры. Зажатая в его пальцах папироса дрожала. Он сказал:

— За вами...

— Я подумала то же самое. Одно окно у нас выходило в поле. Быстро выбрались. Но тут меня обдало холодом. Вспомнила: в два часа должен прийти Герасим. Квартира, где он находился, была рядом, в проходном дворике. Я вернулась. Пришла к нему и, волнуясь, прошептала: «Рядом полиция... Мы с Розеншейном ушли, я вернулась предупредить. Уходи немедленно». В это время весь двор заполнился полицейскими. «Теперь сомнений нет, — подумала я,— охотятся за нами». Я растерялась и говорю: может, не надо было идти предупреждать? Только лишние жертвы? А Герасим улыбается и отвечает:

— Дело сделано. Давай лучше будем работать. Какие у тебя мероприятия на ближайшие дни?

— Я была удивлена. Как будто под окнами никого нет. Как будто полицейские не могут каждую минуту войти сюда.

— Что же будем делать, если они войдут? — спросила я.

— Там видно будет.

— А меня все сверлит мысль: «Сейчас должна войти Ванда, что тогда будет?..» И тут, действительно, раскрывается дверь, вбегает Ванда и говорит:

— Полиция искала каких-то злодеев. А так как двор проходной, то они решили оцепить весь район.

— Ну вот, — сказал Герасим,— теперь мы поработаем.— И на лбу его выступили капельки пота. Он широко улыбнулся, вынул платок, вытер лоб и продолжил: — Теперь к делу. Рассказывай, Ванда.

В конце нашей беседы Кнубовец сказала:

— Знаете, что меня особенно подкупало в Герасиме? То, что он жил без страха. Даже его походка, широкая и спокойная, вразвалку, говорила об этом. По городу, где властвуют пилсудчики, он шел как хозяин и никогда не оглядывался. Я ему как-то это сказала, а он ответил:

— Конечно, мы здесь настоящие хозяева. Они только временные.

Александра Ивановна Федосюк работала в подполье Западной Белоруссии много лет. В 1934 году меня познакомил с ней Николай Масловский. Было это в Могилеве. Мы осваивали тогда первый в Советском Союзе комбинат искусственного шелка. Алесь с Дашей, как мы их тогда называли, приехали посмотреть один из гигантов первой пятилетки.

— Хочется взглянуть на наш завтрашний день,— говорила Даша, обходя просторные корпуса.

Тридцать с лишним лет прошло с тех пор. Сейчас мы сидим на квартире у Федосюк и вспоминаем минувшие дни.

— В условиях революционного подполья мне пришлось работать с Герасимом в 1935—1936 годах,— рассказывает Александра Ивановна.— В эти годы особенно активизировались фашистские элементы. Это было время напряженной работы Компартии Польши и Западной Белоруссии за создание единого фронта, против фашизации страны. Комсомол Западной Белоруссии вел активную борьбу за молодежь, на которую

фашизм делал особую ставку. Товарищ Герасим был в этот период первым секретарем ЦК комсомола. Работая с ним рука об руку, я видела, как высоко в нем было развито чувство ответственности. Он всегда знал, чем живет рабочая, крестьянская и учащаяся молодежь, и никогда не удовлетворялся информацией других товарищей. Стремился все увидеть сам. Герасим встречался с комсомольцами стекольных заводов, текстильщиками Белостока, студентами Виленского университета. С любым человеком — будь это рабочий, студент, молодой ученый — он находил не только деловой, но и душевный контакт.

Александра Ивановна рассказала мне, как комсомол Западной Белоруссии боролся против организованной фашистами и черносотенцами кампании за «скамеечное гетто». В те дни Дворников почти ежедневно бывал в университете, встречался с комсомольцами, с членами «Фронта» и «Функа», подсказывал формы и методы борьбы с реакционно настроенными элементами. Эта кампания была использована им как наглядный пример для показа лица фашизма. С каждым днем в борьбу против реакционеров втягивались новые сотни студентов и городской интеллигенции.

В конце концов эта фашистская затея с треском провалилась.

И еще одно трудное и опасное дело подготовил Герасим. Он был организатором акта возмездия над матерым провокатором Яковом Стрельчуком.

С самых первых дней создания буржуазного польского государства и возникшего против него революционного рабочего движения правящие круги Польши взяли на вооружение самое черное порождение политики русского царизма — провокацию.

Коммунистические партии, в том числе и КПЗБ, всегда выступали против индивидуального террора. Но уничтожение тайных агентов, засылаемых в организации с целью предательства, на протяжении всей истории борьбы рабочего класса рассматривалось как акт самообороны. Были такие примеры и в польском рабочем движении. В 1925 году двадцатилетний коммунист Н. Ботвин, выполняя приговор партии, стреляет

у стен Львовского окружного суда в провокатора Цеховского.

Но дефензива все равно не унимается. Кого страхом, а кого подкупом она вербует и засылает в революционные организации своих агентов.

Одним из злейших провокаторов явился пробравшийся инструктором подпольного ЦК комсомола Западной Белоруссии «Демка» — Яков Стрельчук.

Продался он, еще находясь в польской армии. Молодого офицера завербовала полевая жандармерия, и Стрельчук стал агентом по выявлению настроений среди офицерства. Потом его передали дефензиве. По ее заданию провокатор проникает в подполье, вступает в комсомол. Ловкий и хитрый оборотень умело маскируется под идейного комсомольца-революционера, становится секретарем райкома, а затем и окружкома комсомола. Выполняя задания своих хозяев, старается долго не задерживаться на одном месте. Стрельчук работает секретарем окружкома в Бресте, Белостоке и Слониме. Часто бывает на конспиративных квартирах ЦК комсомола и ЦК партии. Ему известны многие пароли и явки. Он знает в лицо сотни комсомольцев и коммунистов.

Когда Стрельчука заподозрили в измене, его отстранили от работы и предложили поехать на учебу. Он понял, что это провал, и ушел в дефензиву.

Сбросив маску, Стрельчук окончательно распоясывается. Вместе с дефензивщиками подлый провокатор разъезжает по городам Западной Белоруссии и Виленщины. Участвуя в арестах подпольщиков, хватает знакомых коммунистов прямо на улице. Так была схвачена этим негодяем любимица белостокских рабочих «Ванда» (Роза Залешанская). Она была членом ЦК и секретарем окружкома комсомола. Ванде было всего 24 года. Более шести лет она провела в тюрьмах.

Она шла по улице, когда ее встретил Стрельчук. С ним было два шпика.

— Здравствуй, Ванда! — сказал он ей, криво ухмыляясь.

Отделаться от предателя не удалось. Ванда была задержана.

Несколько раньше по доносу Стрельчука была арестована большая группа комсомольцев-активистов.

Вместе с сотрудниками дефензивы он участвовал в допросах и пытках, а потом выступал на процессах в качестве свидетеля обвинения.

Много замечательных людей было арестовано, осуждено и замучено по показаниям этого подонка. Методы его работы были настолько коварны, что удивлялась даже полиция. Приезжает, например, Стрельчук с полицейскими в крестьянский дом и говорит:

— Арестуйте хозяина. Это секретарь местной партийной ячейки. Я проводил здесь собрание.

Хозяин дома отрицает:

— Я ничего общего не имею с коммунистами, а этого человека вижу впервые.

Тогда Стрельчук подходит к стене, снимает икону и громко читает на обратной стороне: «Такого-то числа я проводил здесь партийное собрание».

И подпись: «Стрельчук».

Хозяина тут же избивают. Требуют, чтобы он назвал имена людей, которых провокатор не успел запомнить.

ЦК партии объявил Демку-Стрельчука вне закона, призывая каждого, кому встретится этот негодяй, уничтожить его. Провокатор стал вести себя осторожнее. Организованные на него в Белостоке и Новогрудке покушения были неудачными. Они привели к тому, что Стрельчук перестал появляться на улицах города даже под охраной. Жил он в здании дефензивы и показывался людям на глаза только в суде. Да и то под усиленной охраной.

Действия этого предателя стали серьезно угрожать партийно-комсомольскому подполью.

Проникнуть на третий этаж дефензивы представлялялось делом невозможным, и секретариат ЦК партии принял решение ликвидировать провокатора в здании суда. Руководство этой акцией было возложено на Дворникова.

25 января 1936 года в зале Виленского окружного суда открывалась судебная сессия, на которой должны были рассматриваться дела нескольких групп коммунистов и комсомольцев. В составе одной из них была Ванда. То, что она была членом ЦК комсомола, дефензива использовала для хвастливого заявления, что это будет суд над ЦК комсомола Западной Белоруссии.

А в это время шла подготовка к ликвидации провокатора. В середине января в Вильно специально по этому делу прибыл член ЦК КПЗБ Павлов. За несколько дней до этого Зоха Черная привезла из Варшавы оружие — два пистолета, которые хранились на тайной квартире.

Герасиму лично, не втягивая в это дело никого из членов и аппарата ЦК комсомола, было поручено подобрать исполнителей и обеспечить акцию технически (пропуска, одежда, транспорт и т. д.). Даже Александра Федосюк — Зязюлька, второй секретарь ЦК комсомола, человек, которому Герасим безгранично доверял,— узнала обо всем, когда дело было сделано.

Для исполнения этого ответственного задания нужен был человек, сочетающий в себе храбрость и волю с расчетливостью и трезвым умом. Человек, который сумеет в случае ареста высоко держать знамя партии и достоинство коммуниста. Герасим остановил свой выбор на Притыцком...

Сергей Притыцкий родился в 1913 году в деревне Гаркавичи, Гродненской губернии, в бедной крестьянской семье. Его старший брат Александр вступил в члены КПЗБ в 1923 году и был потом секретарем Гродненского окружкома партии. Во время Великой Отечественной войны он был схвачен гитлеровцами и расстрелян.

Влияние старшего брата на остальных членов семьи было большим. Взгляды и политические убеждения Александра разделял не только Сергей. И отец их, Осип Григорьевич, был революционно настроенным человеком. В семнадцать лет Сергей вступает в комсомол. Через три месяца он избирается секретарем райкома, а в 1932 году — секретарем Гродненского окружкома комсомола. К этому времени Сергей Притыцкий был уже членом КПЗБ. Через год, на квартире вышедшего из тюрьмы старого коммуниста Кишкеля, он был арестован. Дефензива подвергла его таким зверским избиениям, что из-за возможных тюремных волнений отправила к уголовным. Только через три месяца его перевели к политическим. Так как допросы ничего не дали — Сергей никого не назвал и у него ничего не нашли,— он был выпущен под надзор полиции.

Выполняя решение партии, Притыцкий перешел на

нелегальное положение. С этого времени начинается его полная тревог и напряжения жизнь профессионала-революционера.

И вот этот человек среди бела дня должен войти в зал Виленского окружного суда и у всех на глазах привести в исполнение приговор партии.

...Строгое, монументальное здание в центре Минска. Я сижу в просторном кабинете Сергея Осиповича Притыцкого. Наша беседа длится долго. Мне неудобно, я отнимаю у гостеприимного хозяина много времени. Несколько раз приходят сотрудники, приносят на подпись документы и, как мне кажется, укоризненно на меня посматривают. Звонят из разных городов люди, и Сергей Осипович, только что с волнением вспоминавший свои молодые годы, разговаривает с ними, что-то разъясняет, советует.

Я подымаюсь.

— Ничего, сидите,— говорит Сергей Осипович и снова возвращается к событиям тех дней. — Может быть, вопрос о том, что я должен привести в исполнение приговор над предателем, был решен заранее,— продолжает он,— но я об этом не знал. За несколько дней до этого мы сидели вдвоем с Герасимом и были очень взволнованы. Я только что вернулся из Слонима. Картина, которую застал там, была неутешительной. Партийные и комсомольские организации оказались разгромленными. Большинство коммунистов и комсомольцев арестовано. У их родных и друзей появилась растерянность. С большим трудом мне удалось создать в районах партийные и комсомольские группы.

— Все это — результаты работы провокатора Стрельчука,— сказал Герасим.— Он все еще жив и может немало нам навредить.

— Почему же до сих пор не выполнено решение ЦК о его ликвидации? — спросил я.

— Это не так просто,— ответил Герасим.— Негодяй прячется в дефензиве под охраной. В здании суда появляется тоже не один.

— В таком случае,— сказал я,— его надо убить в самой дефензиве или в здании суда.

Герасим помолчал, потом сказал:

— Для этого нужны особые люди. Я пообещал в ЦК, что дам таких людей.

— Ненависть к провокатору очень велика, и в организации есть такие хлопцы, что по зову партии пойдут в самое пекло,— подтвердил я.

Герасим улыбнулся:

— Послать людей просто. А вот что бы ты сказал, если бы тебе самому пришлось сделать это?

— Такое заявление вызвало во мне чувство обиды,— говорит Сергей Осипович,— и я сказал: — Хорошо, пожалуйста, обеспечьте меня пистолетами. Увидев мое волнение, Герасим ответил:

«Да я пошутил. Не принимай близко к сердцу. Я же тебя знаю». Я сказал, что такими вещами не шутят. Уничтожить провокатора надо, и я за это берусь. «Ладно, подумаем. Завтра я к тебе зайду»,— услышал в ответ.

Сергей Осипович посмотрел на часы.

— На другой день,— продолжал он,— Герасим мне сказал: «В ЦК обсудили твое предложение и приняли его. Ты пойдешь в суд и выполнишь решение партии. Не удастся тебе — пойду я». Мне было ясно, что Герасиму это сделать труднее. Провокатор знал его в лицо. Но я понимал: Герасим слов на ветер не бросает. Прошло много лет, и я могу с уверенностью сказать: не удалось бы стрелять мне — это сделал бы он.

Сергей Осипович немного помолчал, потом продолжил:

— Немногие знают, какой это был замечательный человек, какой руководитель, организатор. Мне посчастливилось не только работать с ним. Когда я учился в партийной школе, он выступал перед нами. С каким удовольствием мы его слушали! Самые сложные и неясные вопросы он умел преподнести просто и убедительно.

Я заикнулся насчет белорусского акцента. Спросил: не мешал ли он Герасиму?

— Дай бог каждому не поляку так хорошо владеть польским языком. Мы не замечали акцента,— ответил Сергей Осипович.

И вот пришел этот день: 25 января 1936 года. В здании судебных установлений начался процесс над семью коммунистами. Было известно, что на суде вы-

ступит Стрельчук. Матерого провокатора нужно было уничтожить тут же, в доме его хозяев. Идя туда, Сергей Притыцкий знал, что вряд ли уцелеет. Раньше он в этом здании ни разу не был и единственно, чего боялся — попасть в руки шпиков до того, как дело будет сделано.

Провокатора он знал только по фотографиям.

Герасим предлагал Сергею ключ от прокурорской комнаты, но, поскольку он не был знаком с внутренней планировкой здания, это не помогало. Отказался Сергей Притыцкий и от группы комсомольцев, которые могли бы ему помочь при побеге.

— Лишние жертвы,— сказал он.

24 января к Сергею пришел Герасим, с которым они просидели до двух часов ночи. Проснулся он на следующий день поздно, в девять тридцать, а процесс начинался в десять часов. Он схватил принесенный Герасимом пропуск и побежал в суд, но к открытию уже опоздал.

Процесс начался, в зал никого не пускали.

С тяжелым сердцем ходил Сергей весь день по улицам Вильно. Что подумают о нем Герасим и другие товарищи?.. Утешало одно: было известно, что 27 января состоится процесс над восемнадцатью студентами и без показаний Стрельчука на нем тоже не обойдутся.

Вечером 25 января Притыцкий снова встретился с Герасимом. Объяснил причину задержки и попросил еще один пистолет. Утром следующего дня он получил его и проверил за городом.

Рано утром 27 января Сергей Притыцкий вошел в зал заседания суда. Одет он был в форму члена стрелецкой организации *. Первые шесть рядов были заняты атлетически сложенными, как на подбор, молодцами. Крепкие затылки и тупые лица выдавали их профессию. Сергей сел в седьмом ряду на крайнее место у прохода.

Долго тянулись часы. Он терпеливо ждал. Среди подсудимых, которые знали Притыцкого, началось движение. Они стали переговариваться. Некоторые бросали на него острые, вопрошающие, а кое-кто и откровенно недоверчивые взгляды. Подсудимые знали,

---

* Полуфашистская молодежная организация.

что против них должен выступать Стрельчук. А зачем тогда здесь Аркадий? Неужели и он?..

Возбуждение арестованных, их недоуменные взгляды в его сторону заметили и другие. Не могли не заметить этого и первые шесть рядов.

Только он, Сергей Притыцкий, сидел спокойно и ни на что не реагировал. Будто все это его совершенно не касалось.

Объявили перерыв, и он на время вышел. Выкурил две папиросы. Потом вернулся и занял свое место.

После перерыва председатель суда потребовал:

— Пригласите свидетеля Якова Стрельчука!

Из прокурорского кабинета тихой, лисьей походкой вышел Стрельчук. Говорил он вначале робко, приглушенно. В зале воцарилась тишина.

Когда провокатор повысил голос и патетически, указывая пальцем на подсудимых, воскликнул: «Вот они, агенты большевизма!» — Аркадий поднялся со своего места и пошел вперед.

Сидевшие сзади видели, что шел он вначале медленно. Потом, очевидно, вспомнив о первых шести рядах, быстро приблизился к провокатору и, выхватив сразу два пистолета, стал стрелять.

В зале поднялась суматоха. Послышались визгливые крики. Прокурор полез под стол. Некоторые дамы потеряли сознание. Как червяк, извивался под ногами Притыцкого Стрельчук. Публика кинулась к выходу. Аркадий тоже рванулся к двери, но она была заперта. Ударом плеча он взломал ее. Под дулами его пистолетов шпики стояли у стен и молили:

— Пан, даруй жизнь.

Он мог их всех перестрелять, но этого не сделал. Пятясь назад, он уходил. Но стоило ему лишь на мгновение повернуться к ним спиной, как они, только что молившие о пощаде, открыли по нем стрельбу. Притыцкий упал.

«Комсомолец в зале суда убил провокатора и убит!» — кричали газетчики. Мировая общественность была возбуждена. Еще бы! Матерый провокатор был наказан во время исполнения своей гнусной роли. В первую минуту видевшие все это товарищи были подавлены. Им показалось, что отважный молодой человек убит.

На следующий же день, когда стало известно, что Притыцкий жив, партийные организации и комсомол начали борьбу за его спасение. ЦК КПЗБ и ЦК комсомола использовали всю силу своей пропаганды. На стенах появились листовки с портретами Сергея Осиповича Притыцкого и лозунгами: «Притыцкий должен жить!»

Мужество всегда вызывает уважение. На борьбу за жизнь героя поднялась вся мировая общественность. В Вильно был организован нелегальный комитет защиты Притыцкого. За его спасение боролись не только трудящиеся Польши, но и Франции, Чехословакии, Англии, США. В едином порыве выступили народы Советского Союза. Были организованы демонстрации рабочих в Варшаве и других городах Польши. Стихийные выступления и митинги возникали у зданий польского посольства в столицах многих буржуазных государств.

И польскому правительству пришлось сдаться. Смертная казнь Сергею Притыцкому была заменена вечной тюрьмой.

Славой-Складковский — циничный солдафон, глава пришедшего к власти нового правительства — заявил в своей программной речи:

— Стреляли в коммунистов и будем стрелять.

Но стрелял он не только в них, а во всех недовольных. В ответ на террор властей по стране прокатилась волна забастовок.

Началось с лодзинской фабрики «Самперит». Полиция избивала забастовщиков: мужчин и женщин. Несколько человек было убито, многие ранены. В их числе был убит стоявший в пикете парень из стрелецкой организации. Возмущенные убийством товарища, члены этой организации публично рвали свои билеты. А забастовка ширилась. Ею были охвачены Краков, Львов, Белосток, Вильно.

Комсомольцы организовывали молодых рабочих, разъясняли крестьянам смысл происходящего. Крестьяне собирали хлеб, отдавали последние гроши в помощь бастующим. Народ сплачивался, волнения влияли даже на армию. Солдаты расквартированного в Гродно 75-го

полка и батальона связи делились с бастующими своими пайками.

Особую популярность идея единого антифашистского фронта приобрела в среде молодой интеллигенции. Здесь комсомолу Западной Белоруссии удалось развернуть очень большую работу. При Виленском университете возникла организация прогрессивных ученых — «Фронт левицы». Комсомол создал в «Фронте» свои ячейки. Они же были созданы в польской и белорусской гимназиях. Проживающий ныне в Гомеле бывший член КПЗБ Владимир Климаш вспоминает, как в одной из гимназий на активе коммунистов и комсомольцев выступил Герасим. Это была короткая, но яркая и вдохновляющая речь о целях и задачах единого фронта.

Фронтовцы, к голосу которых прислушивалась интеллигенция края, энергично боролись с национализмом и антисемитизмом. Некоторые из членов этой организации вступили в КПЗБ. С помощью «Фронта» и «Функа» был нанесен последний удар фашистским молодчикам, пытавшимся захватить в свои руки политическую жизнь университета.

Органом, группирующим вокруг себя прогрессивные силы, была газета «Попросту». Тираж ее вначале был небольшим — всего три тысячи. Потом его довели до 16 000. Газета писала: «Мы хотим создать свободную трибуну для каждого трудового человека. Трудящиеся мало знают о культуре и жизни братских народов, проживающих в границах польского государства, а в особенности о доле белорусского крестьянства».

Кроме Герасима и Максима Танка в этой газете сотрудничал Григорий Романович Ширма, выступали другие товарищи.

Когда полиция закрыла «Попросту», начала выходить «Карта». Вскоре полиция закрыла и ее.

Перед этим дефензива арестовала группу активных фронтовцев. В январе 1936 года в Виленском окружном суде шел процесс по их делу. Обвиняемые, по одному меткому определению, составляли интернационал в миниатюре. Среди них было шесть поляков, три белоруса, один литовец и один еврей.

Несмотря на то, что все они заявили о своем отри-

цательном отношении к фашизму и его пособникам, польские реакционеры попытались спровоцировать раскол группы. Проявив «милосердие» к полякам, суд осудил белорусов, литовца и еврея.

Но последователи политики Пилсудского просчитались — это не раскололо «Фронт». Он только перешел на нелегальное положение.

Антифашистские выступления активизировали политическую жизнь края, содействовали появлению ряда новых газет. Стали выходить «Белорусская летопись», «Наша воля». Фактическим руководителем «Воли» был Самуил Малько. Члены редколлегии «Нашей воли» собирались в квартире Григория Романовича Ширмы, на улице Святой Анны, 2, в доме рядом с Поплавской, где была явочная квартира Герасима.

Некоторое время спустя начала выходить газета «Левар». Во всех редакциях этих изданий Герасим часто бывал, печатал свои заметки, участвовал в часто возникавших дискуссиях.

Товарищи ему говорили:

— Будь осторожен. Тебя ищут.

Польская дефензива много дала бы, чтобы поймать Герасима-Роберта. Под этими именами его знали и в полиции. Надо также полагать, что оставшийся после покушения в живых Яков Стрельчук сообщил о Дворникове исчерпывающие данные, нарисовал его достаточно полный политический портрет. Дефензива хорошо знала, кто руководил восстанием крестьян в Кобрине, забастовками в Вильно и Белостоке, знала, кто разоблачал националистически настроенных помещичьих сынков в стенах университета. Понимала она, и кто вложил пистолеты в руки Сергея Притыцкого.

И вот этот человек на свободе. Ходит себе среди них и их агентов не спеша, вразвалочку. Независимо и уверенно идет мимо полицейских и дефензивщиков. Спокойно, будто он хозяин здесь, смотрит в их глаза.

Правда, на днях этот «хозяин» едва не попался. Пошли они вместе с Максимом Танком к молодым «хадекам» — христианским демократам. Пошли, разумеется, не просто так, а по делу. Решили поместить в их журнале «Путь молодежи» «Декларацию молодого гражданина».

Декларация эта уже была помещена в «Попросту»,

но очень важно было, чтобы ее опубликовал и молодежный журнал.

Молодым хадекам, идущим по стопам своих старших коллег, очень не хотелось ввязываться в эту кампанию с левыми. Но сказать об этом прямо нельзя, и они стали выставлять претензии. Хотя в Декларации было совершенно ясно и прямо сказано, что кроме «права на труд, свободу слова, собрания и союзов Декларация требует автономии народам, проживающим на территории Польши» — их это якобы не удовлетворяло, для них этого будто бы было мало.

Молодые хадеки стали критиковать Декларацию слева, заявляя, что они не могут ее напечатать. Причина? В ней, видите ли, недостаточно четко сказано о правах нацменьшинств.

— Это верно,— соглашается с ними Герасим,— можно сказать сильнее, например, о самоопределении народов вплоть до отделения. Но тогда цензура «зарежет» Декларацию! Ведь и вы сами в своих документах никогда так остро не пишете?

Они, конечно, понимают всю слабость своих аргументов, но печатать Декларацию все-таки не хотят. И здесь их «выручает» полиция. Она явилась в редакцию за тиражом какой-то конфискованной брошюры.

Первым увидел полицейских Максим Танк. Увидев, побледнел. Он хорошо понимал: встреча с полицией Герасиму совершенно противопоказана.

Танк прекращает дискуссию и небрежно говорит:

— Нам пора идти, в другой раз дотолкуемся.

Герасим сначала не понимает, в чем дело. Но, увидев полицию, тоже смотрит на часы.

Они быстро уходят.

Никогда еще города Западной Белоруссии не видели такой мощной демонстрации, как в этот Первомай 1936 года. Это был подлинный триумф народного единства.

В Гродно после долгих споров националистически настроенные профсоюзы сколотили отдельную, со своим маршрутом колонну. Находившиеся в ней члены КПЗБ и комсомольцы повели агитацию за единство действий, убедили в этом рабочих и свернули колонну на

маршрут единого фронта. Под лозунгом «Да здравствует единство трудящихся!» она влилась в общий поток.

Несколько тысяч человек вышло на улицы города — такого в Гродно еще не бывало. Не было такого в Слониме, Волковыске и других городах Западной Белоруссии.

Половодье единого фронта ломало и уносило прочь все рогатки. Заставляло правых лидеров, привыкших к сговору с буржуазией и властями, шагать в едином фронте с рабочими. Тяга рабочих сердец к единению преодолела все. Особенно показательным было выступление трудящихся в Вильно.

Максим Танк в те дни записал: «Никогда еще не приходилось мне участвовать в такой громадной боевой первомайской демонстрации, какая всколыхнула вчера весь город. Под сотнями красных знамен, с пламенными лозунгами Народного фронта прошли десятки и десятки тысяч рабочих, юношей, девушек — людей разных национальностей, партий, профсоюзов, требуя работы и хлеба, мира и амнистии политзаключенным, усиления борьбы против антисемитизма и фашизма...

Во время моего выступления на митинге в зале Снедецких ворвались эндеки. Началась драка. Но рабочие и студенты быстро их разогнали. Только остались от них в фойе и на лестнице сломанные палки да битое стекло. Мне кажется, и сегодня еще мостовая не остыла от вчерашней могучей поступи демонстраций, а кирпичные стены зданий все еще звенят от «Интернационала», который каждый из нас пел на своем родном языке».

Находящимся на нелегальном положении работникам в дни демонстраций бывать на улицах запрещалось. Но мог ли Герасим в такой день сидеть взаперти? Он понимал, что полиция сегодня из помещений не выйдет, побоится. Так оно и получилось — с улиц ее как будто ветром сдуло. Лишь кое-куда была послана молодежь из НД, но, получив изрядную порцию оплеух, струсила и разбежалась.

Подхватив под руку знакомую участницу демонстрации, Герасим пошел мимо шумных праздничных колонн.

А фельдфебельское правительство Складковского свирепствовало. Оно подхалимски заигрывало перед

Гитлером. Малейшие попытки печати или театра высказаться против фашизации Германии подавлялись. Это делалось в то время, когда представитель фашистской Германии в Лиге Наций на вопрос, когда его страна начнет готовиться к освобождению польской Силезии (срок договора истекал в 1937 году), показал присутствующим язык. После ухода Германии из Лиги Наций, роль защитника ее интересов взяла на себя польская дипломатия во главе с Беком. Они, как цепные псы, бросались на всякого, кто пытался критиковать фашистский режим.

Гитлеровцы уже хозяйничали в исконно польском городе Гданьске. Розенберг и сам Гитлер говорили о Польше, как о территории Германии. А складковские и беки продолжали ту же политику холуйского с ними заигрывания. И чем больше они пресмыкались перед немцами, тем беспощаднее расправлялись с патриотами Польши.

Герасим был часто в разъездах. Время настоятельно требовало общения с широкими массами, коммунистами и комсомольцами, с рабочими и крестьянами, входящими в другие партии и организации. Надо было восстановить выданные провокатором партийные и комсомольские организации, создать новые. Товарищи поддержали эти поездки не только из соображений необходимости. Они считали, что на периферии Герасим будет в большей безопасности.

РАЗГОВОР С МАЛЬКО

О фашистском мятеже генерала Франко Западная Белоруссия узнала на второй день. Провалившиеся на выборах в парламент, отвергнутые народом мятежники решили с помощью немецких, итальянских и португальских штыков захватить власть в стране. Нужно ли говорить о том, как встречена была эта весть в крае, тоже борющемся за свое освобождение. Трагедия испанского народа взяла за сердце каждого сознательного рабочего и крестьянина.

Это известие вызвало у всех желание помочь своим братьям по классу чем только можно. Крестьяне-бед-

няки собирали деньги, рабочие принимали решения об отчислении из зарплаты. Многие интеллигенты ежемесячно выделяли некоторое количество злотых в помощь борцам демократической Испании. Лучшие люди мечтали о том, чтобы отдать этой, сразу ставшей им родной стране, и ее мужественным защитникам самое дорогое, что может отдать человек,— свою жизнь.

О коммунистах и комсомольцах нечего было и говорить. Испания стала девизом. «Но пасаран!» — самым популярным лозунгом.

Первого августа 1936 года ЦК Компартии Польши выступил с обращением к рабочим, крестьянам и интеллигенции, ко всему народу Польши, помочь народу Испании. К Герасиму стали обращаться активисты и функционеры: «Отпусти в Испанию. Помоги уехать в Испанию».

Отправка добровольцев началась в первые же дни. Ею занималась специально созданная при ЦК Компартии Польши комиссия. В обращении к польскому народу Компартия выразила то, что в это время думали все честные люди мира: «Дело Испании — наше дело!»

Кое-кого из желающих Герасим отпускал. От многих отбивался. Нельзя же совсем оголять организацию! Однажды на очень настойчивое требование одного паренька ответил:

— Ты думаешь, что мне самому туда не хочется? Но ведь здесь тоже бой.

Да, душа его была там — в далеких Пиренеях.

Стало известно, что в Испании, под Ируном,— на границе с Францией,— создана и вступила в бой первая группа польских добровольцев. Он тоже рвался туда, но понимал, что говорить об этом сейчас нельзя. Однажды поделился своими мыслями с Павловым.

Тот улыбнулся:

— А кто не хотел бы быть там?..

Он ходил, и в его сердце звучала им самим сочиненная мелодия на слова светловской «Гренады».

«Что делается с человеком»,— иронически думал он о себе. А сам вполголоса напевал:

> Прощайте, родные!
> Прощайте, семья!
> Гренада, Гренада,
> Гренада моя!..

— Что ты поешь? — спрашивали ребята.

А он только застенчиво улыбался. Он вообще был немного стеснительным.

При Саше Губанове он мог спеть и даже сплясать. Как-то в Гомеле, в парке рано утром, когда, казалось, там никого, кроме них, нет, он вдруг стал танцевать под какой-то свой мотивчик. И тут выпорхнула из-за поворота стайка девочек.

— Ах, как хорошо! — воскликнули они.

И он убежал. Саша еле догнал его.

Николай Дворников любил музыку, увлекался математикой. В детстве мог на ходу устно перемножить и поделить большие числа. Он мог бы стать математиком. Может быть, он стал бы музыкантом. Но он стал борцом за свободу, интернационалистом.

Очевидно, это было в нем сильнее остального.

Это имя я знал по рассказам Максима Танка, часто встречал его в документах коммунистического подполья Западной Белоруссии. Знал, что после воссоединения Западной Белоруссии с БССР он — профессиональный партработник, старший товарищ Герасима в коммунистическом подполье — стал одним из создателей польской армии — генералом. И когда я получил телеграмму от Н. С. Орехво: «Малько приезжает в Минск», я немедленно выехал.

Встретились мы в Институте истории партии.

— Времени у Павлика не так уж много,— сказал Орехво,— устраивайтесь поудобнее...

Но не успели мы устроиться, как начались звонки, потом стали приходить люди. Звонили и приходили близкие друзья, товарищи Малько по коммунистическому подполью.

— У меня здесь что-то вроде явочной квартиры,— пошутил Орехво.

Часто отрываясь, чтобы ответить на звонки, здороваясь с товарищами, Малько опять возвращался к нашей теме — к жизни Дворникова. Весь 1936 год провел он рядом с ним в Вильно — в центре коммунистического движения Западной Белоруссии в те годы.

Из рассказа Самуила Никитовича Малько я узнал много нового.

1936 год начался для них бурно. Занимались организацией единого фронта, массовой кампанией за белорусскую школу, ликвидацией провокатора, боролись за жизнь Сергея Притыцкого.

Как-то к Малько пришла связная. Он обрадовался — наконец-то!

Девушка сказала:

— Завтра придет Герасим.

Павлик уже давно не видел этого товарища, и предстоящая встреча с ним была полезной.

По отчетам в Варшаве знали, что в Вильно, как и во всей Западной Белоруссии, много интересного. Но Герасим имел наиболее полную и свежую информацию. А главное: налаживался личный контакт между руководством партийного, которое осуществлял Малько, и комсомольского подполья.

Герасим вошел раскрасневшийся, оживленный. Он был в спортивном костюме, с переброшенными через плечо коньками. На голове теплая шапочка. По внешнему виду это был типичный студент.

— Твоя маскировка мне нравится,— сказал Павлик, пожимая Герасиму руку.

Его уже давно удивляли конспиративные способности товарища. Меняя форму, он как-то весь преображался. Становился тем, чью одежду носил. В хорошем костюме это был городской панок, бездельник из богатой семьи. В студенческой — настоящий, немного самоуверенный студент-эндек. В крестьянской — не очень заметный, неуклюжий и все же по-крестьянски ловкий парень.

Герасим отряхнул снег, разделся, повесил на гвоздь коньки и, усевшись за стол, стал рассказывать о делах в Вильно и в других районах края.

— Ты не представляешь себе, какой мы сделали в последнее время скачок! — начал Герасим.

— А может, и представляю,— подзадоривая его, улыбался Павлик.— Ну, рассказывай.

И Герасим рассказал о работе комсомольского подполья, о большом размахе, который приняла деятельность «Фронта левицы» и «Функа».

— Какие там чудесные парни среди молодых ученых! — восхищался гость.

И снова говорили о Казимире Петрусевиче, о Марии

и Ире Дзевицких, о последних стихах Максима Танка и о забастовке на «Электрите». Герасим проинформировал о состоянии дел в деревне, о газете «Попросту», о работе в гимназиях. Пришел он в полдень, а было уже за полночь, но еще далеко не обо всем было переговорено. Все, что он рассказывал, было значительно и интересно, зримо. А главное — чувствовалось, что комсомольский вожак увлечен работой и людьми.

Наконец он сказал:

— Поздно уже, пора идти.

Малько не мог выпустить его ночью. По законам конспирации ходить ночью по городу и заходить в конспиративные квартиры не разрешалось. Правда, по этим же законам и оставаться ночевать тоже не следовало...

Из двух зол они выбрали меньшее.

— Ночуй у меня,— сказал Павлик.

Они проговорили почти всю ночь.

— Ну, давай спать,— повторял то один, то другой.— Поздно уже.

А потом начиналось:

— А знаешь...

Малько получил тогда четкую картину работы Виленского подполья, жизни интеллигенции. Это было очень важно. Разворачивалась борьба за единый фронт против наглевшего с каждым днем фашизма. Борьба против черных сил реакции, наглой дефензивы, против правительства оккупации и гнусных провокаций.

Все, что было лучшего среди интеллигенции, включилось в эту борьбу.

Несмотря на то что спали мало, Герасим вскочил рано и сразу же начал делать зарядку.

Павлик с удовольствием смотрел на него. Ему нравился этот парень, сочетавший в себе отвагу духа и силу тела. Герасим улыбнулся, когда он сказал ему об этом.

— Но ведь это связано. И потом — надо по-хозяйски относиться к своему телу, без него ничего не сделаешь,— пояснил он.

После этого они встречались в урочище и за городом, в глухих местах на реке Вилии. Кроме Малько в этих встречах участвовал Максим Танк.

С тех пор прошло много лет.

С. Н. Малько вспоминает, как среди шумной толпы на пляже они обсуждали дела подполья. Как однажды в купальных костюмах, забравшись на плот у берега Вилии, Герасим, Максим Танк и он писали листовку, начинавшуюся словами:

«Притыцкий должен жить!»

А на другой день она призывала людей присоединить свои голоса в защиту отважного комсомольца.

На одной из таких встреч Герасим подарил Максиму Танку «вечное перо», которым только что написал листовку. Танк обрадовался и взволновался, даже чуть смутился. Малько это не удивило: он знал, что Герасим любит делать подарки.

Так работали они вплоть до того дня, пока один случай в Новогрудке не изменил все.

Как-то в «Виленской газете» Павлик прочитал заметку, в которой сообщалось, что на дороге под Новогрудком совершено нападение на полицейского. Тут же говорилось о попытке железнодорожного сторожа задержать двух подозрительных, которые якобы ответили ему выстрелом из пистолета. У Малько екнуло сердце. Он подумал: «Неприятно, если это сделал наш парень. А сделать мог, пожалуй, только Герасим».

Вскоре пришла связная и сказала:

— Приехал товарищ Герасим, хочет немедленно встретиться.

Он и рассказал обо всем случившемся.

Одевшись по-деревенски, Герасим уехал в Новогрудок. Этот район больше других пострадал от предательства провокатора, и надо было посмотреть, как там сейчас. Здесь и произошла у Герасима встреча с полицией, которая потом круто повернула всю его жизнь.

Направляясь в район, он ехал с товарищем на попутной подводе. Все шло хорошо, пока не подъехали к железнодорожному переезду. Внешне к ним придраться нельзя было. Телега была покрашена, на ней красовалась табличка с именем хозяина. И все-таки полицейский остановил их. Случайно или нет?..

Раздумывать над этим было некогда, потому что уже послышалось:

— Панове, ваши документы!

У товарища был паспорт, выданный в этом же повете. Он протянул его, и, хотя документ, удостоверяю-

щий личность, был правильным, полицейский стал долго в нем копаться.

Герасим смотрит на все это и лихорадочно думает. За эти минуты, пока полицейский проверяет паспорт товарища, он должен решить, как поступить. У него — «липа», фальшивый документ, выданный на поляка из глубинной Польши. Не может же он, человек, почти ежедневно меняющий имя, иметь настоящий паспорт. И все-таки: «Может, полицейский поверит?..»

Но можно ли на это рассчитывать, если он так долго проверяет подлинный, выданный на его участке документ?

Если заподозрит, тогда все...

И когда полицейский, отдав наконец паспорт товарища, протягивает руку: «Ваш?..» — Герасим сильно бьет его ребром ладони по шее. Полицейский падает словно подкошенный, а Герасим бежит. На железнодорожном полотне сторож пытается задержать его. Но Герасим стреляет вверх из отнятого у полицейского пистолета. Испугавшись выстрела, железнодорожник отскакивает в сторону.

Теперь он вне опасности и спокойно уходит. Только вот надо переменить одежду. Показываться в этом же одеянии в людном месте, а тем более в Вильно, нельзя.

Что же делать?..

Глухими лесными тропами Герасим пробирается в Лиду.

И вот на самой окраине этого городка одному бедному портному улыбается удача: простой крестьянский парень покупает у него новый костюм! На счастье, у Герасима оказались деньги...

В лесу он снимает крестьянскую одежду и переодевается. Потом идет на станцию и садится в виленский поезд.

На другой день Герасим встречается с Малько. Он удручен, расстроен.

— Не было другого выхода,— говорит ему.— Понимаешь, не было.

— И это не выход,— отвечает Павлик.

Герасим и сам понимает — получилось нехорошо. Партия выступает против индивидуального террора и всевозможных авантюр. Хорошо, если все обойдется. А если дефензива установит, что этот акт совершил

коммунист, да еще комсомольский руководитель? Она это использует для дискредитации партии и комсомола.

А его самого ждет виселица.

— Первым делом тебя надо спрятать,— говорит Павлик.— Месяца два никуда не будешь показываться, а дальше будем решать. Оставаться в Западной Белоруссии тебе больше нельзя. Тебя ведь все знают. Не только здесь, а и в округах. Надо полагать, что Стрельчук дал о тебе достаточно подробные сведения. Поедешь в СССР или в Прагу. Скорее всего в СССР. В конце концов ты поработал, имеешь право отдохнуть.

Герасим угрюмо молчит. Он все понимает.

Потом говорит:

— Нет, в СССР я не поеду. Поеду в Испанию. Сейчас мое место там. И так же, как он когда-то доказывал в Минске, что его место в КПЗБ, он упорно и горячо доказывает Малько, что сейчас его место только в Испании.

— Доложи секретариату, что я прошу отправить меня туда. И глядя прямо в глаза Павлику, поясняет: — Не потому, что так получилось... Я об этом давно уже размышляю.

Малько молчит, думает: «И должна же была случиться такая история. Жаль отпускать парня — хороший работник. А что можно сделать?..»

Потом говорит:

— Хорошо, доложу секретариату.— И, видя измученное лицо Герасима, добавляет: — Поддержу твое предложение. Но ты пока никуда не ходи и ни с кем не встречайся.

Секретариат выносит решение: просить ЦК партии направить Герасима в борющуюся Испанию.

Тайными тропами пробирается Герасим в Варшаву. Ему приходится выслушать немало горьких слов. Он подавлен, волнуется. Товарищи по КПЗБ его знают и любят, но как отнесутся к тому, что произошло, товарищи из политбюро Компартии Польши?..

Человек действия — он сейчас в бездействии. Для него это самое трудное. В голове только одно: «Разрешат ли?..» Тяжелые, обуревающие его мысли не дают покоя. Приходят знакомые товарищи: Малько, Смоляр, Пиришко. Утешают, дружески беседуют. Однажды он не выдерживает и почти из-под замка уходит к Смоля-

ру, на Францисканскую. Этого, конечно, делать нельзя. Там редакция подпольной газеты, бывают члены секретариата.

Но нет сил больше ждать.

— Ладно, ты вроде уже опытный конспиратор,— говорит, улыбаясь, Смоляр и тихо добавляет: — Кажется, есть решение.

А на другой день к нему приходит Павлик, и по его глазам Герасим видит: решение действительно есть!

— Да?..— шепотом спрашивает он у Малько.

— Да,— тихо отвечает он.

Герасим хватает его за шею, прижимает к себе, целует. Куда девалась прежняя унылость и грусть! Как одно слово может преобразить человека! Перед Малько опять прежний Герасим, живой, с горящими глазами — человек дела.

— Когда? — теперь уже спокойно спрашивает он.

— Не беспокойся, едешь,— отвечает Павлик.— Как только получим дорогу у наших товарищей. Ждать долго не придется. А пока связь с тобой будем держать Пиришко и я.



Часть третья

ИСПАНИЯ

Прошли годы. Мы в большой квартире в Новом Антоколе, выросшем на месте бывшей виленской окраины. Беседуем с хозяином квартиры Федором Борисовичем Пиришко.

— Товарищ Малько, которого звали Павликом, вместе со мной отправлял Николая Дворникова в Испанию. Это было в декабре 1936 года,— говорит он.— Помню, что сначала Николай был несколько подавлен. Но после решения ЦК вошел в норму, стал прежним Герасимом. Он ведь туда рвался всей душой. Я как-то спросил его: «А что, Герасим,— не страшно?» В ответ он только улыбнулся. Очевидно, мой вопрос показался ему наивным. А ушел он, как мы тогда говорили, по «партийной дороге». Руководила переброской специальная комиссия ЦК Компартии Польши. Переход зимой через границу — дело серьезное, пришлось потрудиться... Но дело было сделано. В конце января из Чехословакии сообщили: «Товарищ Герасим прибыл в Прагу».

Николай Семенович Орехво, находившийся тогда в Праге, рассказывает:

— На явочной квартире мне было передано, что прибывший из Польши Роберт-Герасим ищет встречи с представителем руководства КПЗБ. Я решил идти на встречу сам. На одной из улиц Праги я увидел его невысокую, коренастую фигуру. Он шел ко мне не спеша, уверенной походкой. Худое измученное лицо показывало, что этот парень много пережил. Встреча на улице чужого города, необходимость сохранять конспирацию заставляли нас сдерживать свои чувства. Мы обменялись только рукопожатием. С волнением говорили обычные, будто мы расстались вчера, слова.

— Здорово, брат!

— Здорово!

— Как жизнь?

— Как видишь, живем.

— Ну, раз живем — это уже хорошо.

— Конечно! — согласился он и тихо добавил: — Тем более что еду туда...

— Слово «Испания» было у всех на устах, и я сразу понял, что значит это «туда»,— продолжает Николай Семенович.— Было начало февраля, но уже чувствовалось приближение весны. Мы шагали по улицам Праги, Герасим рассказывал мне о последних событиях в Западной Белоруссии и об обстановке, которая сложилась для него после выстрелов Притыцкого. Я понимал, что дефензива была хорошо информирована о деятельности Дворникова. Ему там был бы предъявлен солидный счет. И в моей памяти возник тот день, когда на минской квартире впервые пришел ко мне застенчивый синеглазый паренек и потребовал путевку в эту жизнь. Сейчас рядом со мной шагал закаленный в боях солдат революции. Что ж, неплохое подкрепление получат испанские товарищи. И тут же меня обожгла мысль: «Увижу ли я его когда-нибудь еще?..»

Я крепко пожал на прощанье его руку.

А в небольшом домике на окраине Гомеля Колю ждали в гости. Там всегда ждали. Вспоминали, какой он был, как улыбался и что, уходя, говорил.

Когда у Марии Антоновны выдавалась свободная минутка, она перебирала его книги. Вот эту Коля любил особенно. Много раз перечитывал. Она уже не один раз читала ее. Хотела через нее ближе стать к Коле, понять его, но сама она любила другое чтение.

Мысли ее снова возвращались к сыну. Сколько времени прошло, и ничего неизвестно. Что с ним? Правда, в прошлом году забегал какой-то молодой человек, из тех, которым всегда некогда. Передал от Коли привет. На все ее вопросы отвечал отрывисто, коротко:

— Все в порядке. Жив и здоров, работает. За него беспокоиться не надо.

Спросил, правда, не надо ли какой помощи. Мария Антоновна сдержанно ответила:

— Покорно благодарим. Нам только нужно, чтобы Коленька был жив и здоров. А мы, слава богу, ни в чем не нуждаемся.

Прошло уже около года после визита того молодого человека. И вдруг — стук в дверь. На пороге тетя Нюша, почтальон.

— Пляши,— говорит,— Антоновна.

Тетя Нюша, как и Мария Антоновна, уже шестой десяток разменяла. Вместе в ликбез ходили. Она хорошо знает, как здесь ждут писем. Поэтому сразу подает яркий конверт и уточняет:

— Из Парижа.

Трясущимися руками Мария Антоновна рвет конверт, и оттуда выпадает фотография. В светлом костюме, во весь рост, ее Коля. В руках у него шляпа. Словно живой, стоит он и смотрит в самую душу Марии Антоновны. А из глаз ее падают слезы. Она пристально вглядывается в дорогие черты. Даже на карточке видно, как он измучен и худ, как осунулось, почернело его лицо. В глазах не то тревога, не то усталость. И такая вдруг в ее сердце, рядом с болью, появляется злость, что она качает головой и думает: «И чего это ты по свету шатаешься? Разве нет у тебя Родины, отчего дома?» Эх, был бы он здесь — она бы ему сказала то, чего никогда не говорила. Да разве послушался бы ее? Он ведь с детства такой, ни на кого не похожий. И снова любовь и жалость заполняют ее материнское сердце.

«И куда ж тебя, мой соколик, занесло?» — никак не может успокоиться Мария Антоновна.

— Ну, чего он там пишет? — раздается голос Николая Иосифовича.

И она медленно и громко читает, будто повторяет его слова: «Я, мама, фотографируюсь на Елисейских полях. Это не поле, а такой проспект в Париже. Я задержался немного, и мне надо спешить. Был сегодня у Стены коммунаров, Катя знает, что это, и в Советском павильоне международной выставки. Все очень хорошо, мама. Я здоров, за меня не беспокойся. Будьте все здоровы и берегите себя. Катя и Вася, берегите маму и папу. Следующее письмо напишу из соседней страны, куда скоро еду. Целую, Коля».

— Какая же это соседняя страна? — вслух сама себя спрашивает Мария Антоновна.

Николай Иосифович уже догадался и говорит:

— Испания.

Мария Антоновна застывает с письмом в руке.

— Так ведь там же война! Значит, он едет на войну?.. Господи, боже мой, сохрани его,— взывает она к забытому уже богу.

А потом, в марте, приходит еще одно письмо с обратным адресом: Испания, город Альбасете...

— Испания, Альбасете, медленно повторяет Катя.

Ей вспоминается детство, большая книга и на обложке рисунок: сухая степь и длинный, смешной человек на худой кляче. «Вот куда занесло тебя, братишка, маленький мой Дон-Кихот»,— думает Катя.

И снова строки знакомого почерка, и скрывающие подлинную его жизнь, успокаивающие слова: «Вот и добрался я до места. Скоро буду работать. Чувствую себя хорошо. Здесь уже весна. Цветет миндаль. Во время цветения он похож на наши яблони. За меня не беспокойтесь. Берегите себя, маму, папу. Будьте здоровы и счастливы...»

Внизу подпись: «Станиславу Томашевичу».

— Почему Томашевичу? — думает вслух Мария Антоновна,— видно, хозяин квартиры.

Катя молчит, догадывается.

Долгими вечерами отец, мать и сестра листают газетные полосы. Читают: «Война в Испании...» Может быть, где-нибудь что-либо найдут? Хотя бы намек. Нет, ничего не находят. Помогают Испании лучшие люди со всего мира, а войне и конца не видно.

Испания... Суровая и трагическая, отсталая и прекрасная — что знали мы о ней? Не многое. Знали только, что где-то на Пиренейском полуострове есть такая страна, читали «Дон-Кихота», романы Бласко Ибаньеса, смотрели пьесы Лопе де Вега. Широко известными были имена Колумба, Веласкеса, Гойи. Испания ассоциировалась со словами коррида и серенада.

А там, в этом углу Европы, трудно жил подлинный народ Испании — тот, которому было не до серенад. Народ, который с ненавистью смотрел, как на лучших землях откармливаются быки для арены. Трудовая Испания знала, что где-то есть Мадрид — там живут жестокие правители, там богатство и роскошь, а им нечего есть.

По переписи 1930 года, проведенной в 27 провинциях, 2 процента обжирал, кулаков владели 57 процентами пахотной земли. И это, конечно, были лучшие земли. Там, где земля была плодородна, испанский крестьянин земли не имел, а там, где он ее имел — она была каменистой, неудобной для посевов.

И как тысячи лет назад, нищий крестьянин обрабатывал эту каменистую землю деревянной сохой.

В городе было не лучше. Отсталая промышленность, низкая заработная плата, высокие цены на продукты. В стране насчитывалось около четверти миллиона священников и монахов, а тысячи деревень были без школ. Церкви и монастыри, словно паучьи гнезда, высасывали из народа последние соки.

Много раз подымались рабочие и крестьяне Испании против своих поработителей. И когда в испанской черной ночи горели помещичьи имения, то еще жарче пылали ненавистные всем церкви и монастыри.

В представлении народа свобода и церковь были несовместимыми понятиями.

Наступил 1930 год. Диктатура Примо де Ривера была окончательно дискредитирована. Против нее восстал весь народ, даже бывшая опора этого генерала — армия. Чтобы спасти монархию, король Альфонс XIII прогоняет диктатора. Правительство Беренгера прокламирует ряд королевских милостей: возвращает ссыльных, объявляет свободу печати и собраний. Но народ это уже не успокаивает. Брожение захватывает широкие массы трудящихся. Мадридский университет становится главной трибуной революции. Впрочем, трибуной становится теперь каждая улица. Народ не хочет ни королевских уступок, ни самого короля — он хочет республики.

С весны 1930 года бастуют рабочие, батраки, студенты. Выступают с антимонархическими речами профессора. У всех на устах одно слово: «Республика!» С ним связывает народ все свои чаяния. Рабочий ждет от республики повышения заработной платы, законов о труде. Крестьянин — земли. Каталония, страна басков, Галисия — автономии. Интеллигенция — внимания к культуре, мелкая буржуазия — улучшения своей жизни.

Мадридцы распевают:

> Республиканским стало солнце,
> Республиканскою — луна,
> И воздух сам республиканец,
> А если воздух, то и я...

В стране сложилась революционная ситуация, но в ней нет единого революционного центра.

Коммунисты предлагают всем рабочим партиям объединиться, но лидеры этих партий отмалчиваются. Социалисты еще не разобрались в обстановке, а буржуазия понимает: надвигается революция и надо что-то делать.

14 августа 1930 года в Сан-Себастьяне собирается конференция наиболее влиятельных буржуазных партий с участием социалистов. На ней создается революционный комитет. Он призван заменить монархию мирным путем. Однако события выходят за рамки намерений комитета. Бастует уже половина страны. В Гренаде, Кордове, Аликанте батраки и бедные крестьяне захватывают помещичьи и монастырские земли, создают свои вооруженные отряды.

Революционная активность масс пугает «революционный» комитет. 12 декабря он принимает решение начать восстание и всеобщую забастовку, но народ об этом ничего не знает. Начать восстание должен гарнизон в Хаке во главе с Ферминомм Галаном. Он выступает вместе с примкнувшим к нему гарнизоном Нижней Арагонии. А страна молчит. Так же, как и молчит Мадрид. Народ узнает о восстании в Хаке и Арагонии после того, как оно подавлено.

Офицер воздушного флота Игнасио Идальго де Сиснерос вместе с другими летчиками поднимает восстание в авиачастях. С аэродрома Куатро виентос вылетают самолеты. Они разбрасывают над Мадридом листовки: «Граждане, королевский воздушный флот восстал! Беритесь за оружие!»

Однако «граждане» не реагируют.

Бросив на восставших войска, королевское правительство легко расправляется с ними. Летчики бегут в Португалию. Окруженным гарнизонам бежать некуда. Галан и Эрнандес, чтобы спасти товарищей, остаются. Они все берут на себя, и их приговаривают к смерти. Робкие голоса просят короля о помиловании осужденных, но король говорит: «Чернь боится крови...»

Галана и Эрнандеса казнят. Народ молчит.

А где же революционный комитет? Почему он не поддержал Галана? Где остальные гарнизоны? Где обещанная всеобщая забастовка?

Объясняли так: комитет, видите ли, перенес дату восстания с 12 на 15 декабря. В Хаку, к Галану, был

послан член комитета Кирога. Он приехал туда одиннадцатого к концу дня и настолько «устал» с дороги, что, не встретившись с Галаном, лег спать... А когда проснулся, восстание было в разгаре.

Но почему в ходе восстания не поднялись рабочие, не выступили профсоюзы?

— Это не наша — это буржуазная революция,— отвечал Ларго Кабальеро.

Король уже полагал, что с революцией покончено. Но не так думал испанский народ. Как говорят испанцы: одно думает лошадь, другое — тот, кто ее седлает.

13 апреля 1931 года на муниципальных выборах побеждают республиканцы. Король Альфонс XIII бежит.

Оказывается, боится крови не только чернь.

И вот он, долгожданный день — провозглашена республика! Три дня длилось на улицах радостное ликование. Мечта народа воплотилась в жизнь. Рабочие возвратились на фабрики и заводы, крестьяне — к чужим полям и оливам, учителя — в школы, студенты и профессора — в университеты.

А народ все ждет. И правительство принимает демократическую конституцию, вводит восьмичасовой рабочий день. Принимаются кое-какие законы о труде. В деревне строятся школы. Двенадцать тысяч крестьян получают по клочку земли.

Двенадцать тысяч, а ждут миллионы. Аграрная комиссия топчется на месте. Ни земли, ни гарантированной работы. Все остается почти по-прежнему: крестьяне ждут земли, рабочие — повышения заработной платы, баски — конституции.

Слишком многого ждали люди от республики — слишком мало она дала.

Правда, в кортесах произносятся пышные и очень красивые речи. Большой мастер на них военный министр, будущий президент Асанья — он лингвист. Позже Долорес Ибаррури скажет: «Это была республика больших речей и маленьких дел — республика больших ораторов и посредственных политиков».

Пока в кортесах произносились красивые речи, реакция начала наступать на рабочих и крестьян. Рабочие Севильи выходят на улицу — в них стреляют. Волна возмущения охватывает всю страну.

Правые вносят законопроект о «защите» республи-

ки. По этому закону отменяются все демократические свободы, почти все законы о труде, закрываются рабочие клубы. Губернаторы провинций получают право запрещать любую забастовку, разгонять демонстрации, арестовывать внушающих подозрение.

Ларго Кабальеро и его коллеги социалисты — члены кортесов — голосуют за этот закон.

Нелепо решается вопрос с вооруженными силами. На 105 тысяч солдат в армии 17 тысяч офицеров и около 200 генералов. Это значит, один офицер на шесть рядовых, генерал — на пятьсот солдат. Офицерский корпус был главной опорой короля, а теперь на него рассчитывает реакция. Его следует немедленно распустить и создать свой, из преданной республике молодой интеллигенции. Эту проблему надо решать немедленно. Не только по соображениям политическим, но и экономическим: военный бюджет съедает почти треть бюджета страны.

Но Асанья решает ее по-своему. Он предлагает всем, не разделяющим республиканских убеждений офицерам и генералам выйти в отставку с полным сохранением жалованья, правом ношения оружия и формы.

Что же получается?

Из армии уходят не монархисты, а оскорбленная в лучших чувствах, возмущенная этим заигрыванием демократическая часть офицерства.

Реакционерам развязаны руки, и они захватывают ключевые посты.

В такой обстановке страна идет к выборам 1933 года. Левые партии обвиняют друг друга в просчетах республиканского правительства. Правые объединяются. Используя недоверие к республике, подкуп и прямую фальсификацию, они приходят к власти. Фашизм получает зеленую улицу.

Начинается террор.

Одной из первых жертв фашистских убийц стала девятнадцатилетняя активистка соцмола Рико. В ясный праздничный день она шла с прогулки. И вдруг из-за угла вылетел черный автомобиль. Из него раздались выстрелы. Девушка упала, обливаясь кровью. От пули фалангистов падает член ЦК комсомола Градо. Предательские выстрелы обрывают жизнь многих активных защитников демократических свобод.

Они думают террором запугать народ. Напрасно! Народ этим не запугаешь. Похороны Градо превращаются в грандиозную антифашистскую демонстрацию.

Бурно идет полевение рабочих масс. Боясь потерять влияние, Ларго Кабальеро объявляет себя чуть ли не коммунистом. На вопрос о разнице между социалистами и коммунистами он теперь отвечает: «Почти никакой. И мы, и они стремимся к одному. Расхождение только в тактике». В январе 1934 года центральный орган социалистов помещает немыслимые для этой газеты строки: «Доброе согласие с капиталистами? — Нет. Борьба классов. Ненависть и смерть преступной буржуазии!»

А правительство Лерруса — когда-то «революционного» радикала, а теперь взбесившегося реакционера — свирепствует. Объявлены вне закона коммунисты, разгоняются профсоюзы, распущены муниципалитеты, где в большинстве члены коммунистической партии. Брошены в тюрьмы тысячи рабочих.

Хиль Роблес, глава всех правых и иезуитских партий, и Антонио де Ривера едут в Мюнхен на съезд немецких фашистов. Устанавливается фашистская ось Мадрид — Берлин.

Коммунистическая партия провозглашает политику единого фронта. Это диктуется обстановкой, этого требуют массы.

Социалисты молчат, а правительство сводит на нет завоевания первого года республики. Беспардонно нарушаются трудовые договоры. Фабриканты прибегают к локаутам. Заработная плата во многих местах низводится до уровня 1930 года. В стране насчитывается около семисот тысяч безработных.

В феврале 1934 года съезд промышленников требует ликвидации трудового законодательства и запрещения забастовок. Монархисты и фашисты отчаянно рвутся к власти. Ларго Кабальеро, лидер социалистов и Всеобщей конфедерации труда, говорит:

— Пусть они только посмеют. Появление монархистов в правительстве будет сигналом к всеобщей забастовке и восстанию.

Он не только говорит об этом в Испании, он с этим заявлением выступает в американской печати. Этим

самым Кабальеро отдает в руки врагов судьбу восстания, и те это используют.

Первого октября создается новое правительство с участием правых, но объявляется об этом только пятого. За четыре дня в наиболее важных пунктах правительство расставило вооруженные группы. Были установлены пулеметы на крышах Мадрида, Барселоны, Севильи и в других важных центрах страны. Когда рабочие партии объявили всеобщую забастовку и призвали народ к восстанию, их быстро подавили.

Перестрелка в Мадриде шла три дня, потом затихла. Дерется только Астурия. Здесь создается единый фронт. Объединяются коммунисты, анархисты, социалисты, комсомол, союз социалистической молодежи. Восстание побеждает. Горняки захватывают центр области Овиедо. Правительство бросает на Астурию армию и жандармерию страны.

Но астурийцы держатся. Восставших рабочих поддерживают крестьяне и служащие, женщины и дети. В них отказываются стрелять солдаты. Шестнадцать дней сопротивления Астурии всколыхнули мир.

Правительство растеряно, не знает, что делать. И тогда на политической арене появляется некий Франко, какой-то военный советник, марокканский генерал. Никто его толком до этого не знал.

И вот этот Франко предлагает премьер-министру Леррусу призвать на помощь иностранный марокканский легион — наемников, бандитский сброд. Возмущены даже старые генералы.

— Иностранный легион на свой народ?..

Но премьер-министр Леррус с удовольствием принимает этот совет.

Легион с ходу бомбит города и деревни, рабочие поселки Астурии. Они грабят, жгут и насилуют. Астурийцы сопротивляются, бьются до последнего. Но слишком неравны силы. Наемники врываются в Овиедо. Военный суд считается большой роскошью. Каждый захваченный поселок — добыча диких марокканцев. По законам средневековья им дается три дня для грабежа и расправы над населением.

И все-таки Астурия не сдалась. Она придавлена, но не подавлена. Сверху пепел, а внутри огонь. Как и по всей Испании.

А где же лидеры социалистов?

Ларго Кабальеро спрятался. Напрасно искали его коммунисты. У них не хватало оружия, а у социалистов остались неиспользованными целые склады. Спрятался Кабальеро так удачно, что его не могли найти даже свои. Руководство мадридскими боями взяла на себя молодежь. Военный руководитель Индалесио Прието, до восстания рассылавший на почтовых открытках директивы, сбежал. Толстого, взмокшего втиснул его Сиснерос в багажник своего автомобиля и вывез во Францию.

Наконец Мадрид «успокоили», и Кабальеро сам явился в тюрьму. Ему устраивают приличные апартаменты, где «арестант» делает приемы и дает интервью. «Эль сосиалисте» накручивает вокруг его имени ореол мученика. Прието вернулся из Парижа. В печати он объяснил, что не хотел восстания. Его, дескать, заставили подчиниться в порядке партийной дисциплины...

Наступает 1936 год. Страна опять идет к выборам.

Ничего себе, веселые выборы: глава правительства Леррус разоблачен как взяточник.

— Долой взяточника! Долой вора! — кричит народ.

Кое-чему он уже научился. Опыт Астурии не пропал даром. Люди знают, в чем их слабость, чего им не хватает.

— Единства! — кричат ораторы на многочисленных митингах.

— Единства! — скандируют десятки тысяч, подняв вверх крепко сжатые кулаки.

И это единство, которого теперь требует весь народ и которого так давно добиваются коммунисты, становится фактом. За месяц до выборов объединяются все демократические силы. Напрасно фашизм мобилизует, подкупает, запугивает, убивает. Еще полощутся плакаты, призывающие голосовать за Хиля Роблеса, за фалангу Ривера, а народ уже ликует. На выборах в феврале 1936 года единство трудящихся победило.

Но это совсем не значит, что реакция успокоилась. Она отвечает локаутом, пугает костлявой рукой голода. Батраки в отчаянии. Тысячи гектаров колосящегося хлеба стоят неубранными. По ночам опять слышны выстрелы. А утром находят трупы активистов народного

фронта, руководителей молодежных организаций, газетчиков, продающих издания народного фронта.

Но реакция понимает, что она проиграла и уже не надеется на свои силы. Заговорил народ, а против народа она бессильна. Она надеется на Гитлера и Муссолини. Заголовки их газет вопят: «Европа не потерпит! Европа не позволит!»

На глазах правительства монархическое офицерство готовится к восстанию, собирает оружие, составляет списки приговоренных к смерти и убивает их. Сиснерос пишет: «...Мне позвонил Гонсалес Хил и сообщил, что фалангисты убили лейтенанта Кастильо, чья фамилия стояла второй в том списке...»

Известие об убийстве лейтенанта Кастильо взволновало страну. Все ждали наказания убийц, а правительство бездействовало. Сиснерос добивается приема у Асаньи. Президент приглашает его на завтрак. В столовой,— рассказывает Сиснерос,— Асанья обратился ко мне:

— Вы, кажется, хотите сообщить мне что-то важное.

Я удивился. Почему он не пригласил меня для такого разговора к себе в кабинет, чтобы побеседовать без свидетелей? Однако, не желая упустить представившуюся возможность поговорить с президентом, я обрисовал ему серьезность создавшегося в армии положения...

Асанья довольно грубо перебил меня, заявив, что я очень возбужден, мои утверждения опасны и я не должен забываться, разговаривая с президентом. Он встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен.

Я был поражен и возмущен слепотой Асаньи...

За несколько дней до этой встречи Хосе Диас и Долорес Ибаррури с трибуны кортесов предупреждали:

— Реакция готовит кровопролитие!

Но меры не были приняты. А через несколько дней после встречи Сиснероса и Асаньи, 18 июля 1936 года, радио Сеуты провозглашает: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Это был сигнал к действию. Светлый, солнечный день стал черным днем Испании.

Мятеж вспыхивает одновременно во всех городах. В Мадриде и Барселоне народ начеку. Франкистов нейтрализуют. Почти безоружные рабочие, интеллигенты,

служащие, домашние хозяйки захватывают мадридские казармы, разоружают солдат. Астурия становится жертвой предательства. Франкисты захватывают Галисию, Леон, Кастилию, Наварру. Южные города Кордова и Гренада в руках мятежников. Почти триумфальным маршем движутся они на Мадрид.

Народу Испании трудно. Ему надо бороться не только с рвущимися к Мадриду франкистами, но и с преступной инертностью правительства, предательством части старого офицерства, распущенностью анархистов.

И все же он с этим справляется. Восстание фашистов теряет силу.

И тут на арену борьбы выходит немецкий, итальянский и португальский фашизм. Всю мощь своей боевой техники бросил он на этот небольшой, многострадальный народ Пиренеев. И мужественный народ Испании принял этот вызов.

Вот когда мы узнали тебя, разглядели твое лицо, героическая Испания!

Думы советских людей и сердца, все их помыслы обратились к тебе.

Через 20 дней после начала мятежа на военном аэродроме близ Барселоны высадился человек в круглых очках. В чемодане у него пишущая машинка. Пройдет месяц, и Мигэль Мартинес (так он себя называет) станет политическим инспектором при главном комиссаре республиканских войск дель Вайо в звании бригадного комиссара. Так на земле Испании начнет работу первый советский журналист, доброволец Михаил Кольцов.

За ним приедут другие, появятся танки и самолеты, продовольствие и медикаменты.

«Чато, чато!» (курносенький),— радостно закричат мадридцы 7 ноября 1936 года, когда над беззащитным до этого городом советские истребители подожгут первых «юнкерсов», а остальные пустятся наутек.

В эти часы глава французского правительства — социалист Леон Блюм держит в своих руках судьбу двух народов. Достаточно ему выполнить пункт торгового договора, подписанного его предшественником, чтобы, используя общую границу, спасти пролетариат Испании и укрепить положение рабочего класса Франции.

Но Блюм идет по другому пути: он выдвигает идею невмешательства. Больше того, Франция не отдает законному испанскому правительству закупленное им и уже оплаченное оружие.

Германия и Италия блокируют порты испанской республики.

Но одно дело правительства, а другое — народы. Люди со всех концов земли — антифашисты, коммунисты, социалисты, просто честные люди едут в Испанию. Они меняют мирную жизнь на войну, оставляют жен и детей, жертвуют своим настоящим и будущим ради победы испанского народа.

Пятьдесят четыре страны мира посылают в Испанию своих лучших сынов. Они пробираются из раздавленных фашистским сапогом Германии и Италии. Фашизм лишит их родины — они найдут ее в окопах Мадрида. Они едут из Польши, Франции, Англии и США, из стран Латинской Америки, из Бельгии и Скандинавии.

Их отбирают специальные медицинские комиссии. Каждая кандидатура обсуждается в партийных и рабочих коллективах. Только лучшим из лучших дается право сражаться на земле Испании.

Добровольцы проходят через сотни препятствий, переправляются через горы, переплывают многоводные реки, спят под открытым небом, едут в вагонах, груженных углем, забираются в трюмы пароходов, прибегают к тысячам уловок и пренебрегают тысячами опасностей. Они обманывают контрольные посты, тонут в море, замерзают в Пиренеях.

Нередко, когда уже близок конец трудного пути, их хватает полиция и отправляет обратно. Тогда они начинают все сначала.

Среди добровольцев шахтеры, металлисты, крестьяне, писатели. Эрнест Хемингуэй и Джозеф Норт из США, Ральф Фокс из Англии, Людвиг Ренн из Германии, политические деятели Луиджи Лонго и Пальмиро Тольятти из Италии и тысячи других. Скоро их соберется у стен Мадрида более тридцати тысяч. Вместе с мужественным народом Испании они остановят фашистов.

Будет среди них и коренастый гомельчанин Герасим, приехавший из Западной Белоруссии.

БЕЛОЕ ПЯТНО

Почти год, более трехсот дней, жил и воевал на испанской земле товарищ Герасим — Николай Дворников. Что мы об этом знаем? Почти ничего.

Весь этот период его жизни — «белое пятно».

— Надо искать «испанцев»,— говорит мне Максим Танк.

И вот звоню в отдел кадров Минского института иностранных языков.

— У вас есть испанцы? — спрашиваю.

— Есть,— отвечают мне.

— А они участвовали в войне 1936—1939 годов?

— Один участвовал. Можете записать фамилию.

Я пишу: Флорес Фердинанд Хосе Мария, кафедра испанского языка. Когда встретились, передо мной был мужчина среднего роста и возраста с располагающей к себе внешностью.

Начинается беседа. Да, Хосе Мария воевал. В Астурии командовал батареей. Был тяжело ранен. Вторично встретился с фашистами под Сталинградом. Но Дворникова не встречал. Он был на других участках фронта. Разговор сам по себе полезен. За 15—20 минут товарищ Флорес Фердинанд Хосе Мария рассказывает мне об испанской войне много интересного. Но мне ведь нужен Дворников.

— Надо обратиться в испанскую секцию Комитета ветеранов войны,— говорит на прощание мой собеседник.

Иного выхода не было.

— Еду в Москву,— сказал я Максиму Танку.

Он советует мне поговорить в Москве с одним товарищем. Жизнь этого человека так необычна, что, независимо от того, поможет ли он, поговорить с ним полезно.

— Во время белопольской оккупации,— рассказывает Евгений Иванович,— этот парень в шестнадцать лет вступает в комсомол, а в семнадцать — в члены коммунистической партии. Вскоре он вводится в созданное при ЦК КПЗБ литовское бюро. В 1932 году восемнадцатилетнего юношу арестовывают и бросают в виленскую тюрьму. Там мы с ним и встретились. В 1933 году ему удалось выбраться из тюрьмы, и по ре-

шению партии он уехал из Литвы. Работал в Компартии Аргентины. Когда началась война в Испании, оказался там. Сейчас он ученый, писатель. Его литературный псевдоним — Лаврецкий.

Я записываю адрес этого человека и телефон. А через день, уже из московской гостиницы, звоню:

— Товарищ Григулявичюс-Лаврецкий?

— Да, это я,— отвечает голос в трубке.

— Привет вам от Максима Танка.

— От Максима Танка?— живо повторяет голос. — Как он живет?

— Я расскажу вам о нем подробно. Пока прошу сказать — встречались ли вы в Испании со Станиславом Томашевичем — Николаем Дворниковым?

— Встречался один раз,— ответила, немного помедлив, трубка.

— Мне все же хотелось бы с вами встретиться,— сказал я.

— Пожалуйста.

И вот я в квартире у Иосифа Ромуальдовича Григулявичюса. Завожу разговор о том, как он очутился в Испании.

— Это же просто! — улыбается он.— В Испании началась война с фашизмом, и я не мог не быть там. Я хорошо знал испанский и русский языки, и меня взяли к себе советские парни... С первых дней и до конца войны был с ними. С Дворниковым встречался в 1937 году один раз, кажется, в июле месяце. Мы вспоминали Вильно, работу в подполье. Оба мы работали в КПЗБ, но там не встречались. Дворников прибыл в Вильно, когда я уже был в тюрьме. Встретились только в Испании. Это был период формирования бригады имени Домбровского. Батальон, где комиссаром был Дворников, состоял из двух рот: украинской — имени Тараса Шевченко и польской — имени Адама Мицкевича. Заканчивалось комплектование роты имени Ботвина. А Дворникову хотелось создать еще и белорусскую роту имени Кастуся Калиновского.

Иосиф Ромуальдович подходит к книжной полке и берет книгу. Она издана Институтом военной истории в Варшаве в 1963 году. Хозяин квартиры раскрывает ее, и я вижу знакомое лицо: на фотографии в мундире офицера испанской республиканской армии — Нико-

лай Дворников. Он щурится — не то улыбка, не то солнце бьет в глаза. Под фотографией подпись: «Николай Дворников — Станислав Томашевич, первый политический комиссар батальона имени Палафокса».

— Похож?.. — спрашивает Иосиф Ромуальдович.

— Конечно, это он,— отвечаю я. — Только жестче стали черты лица, загоревшего на щедром испанском солнце.

Торопливо листаю книгу, еще раз смотрю на фотографию.

— Неудобно вам надоедать,— говорю я.

Григулявичюс улыбается. Он меня понимает.

— А вы смелее, не стесняйтесь.

И я прошу его дать мне на время эту книгу.

— Возьмите,— разрешает он,— потом вернете. А испанской секции вам все равно не миновать.

На другой день я вхожу в небольшой дом на улице Кирова. Прохожу ряд комнат и попадаю в испанскую. Помещение небольшое, а людей здесь много. Некоторые сидят, другие стоят группами. Подхожу наугад к двоим, сидящим у стены.

— Здравствуйте! — говорю. — Дворникова-Томашевича вы случайно в Испании не знали?

Мое обращение их не удивляет, очевидно, здесь часто задают такие вопросы. Сидящие представляются: Олари — интербригадовец, Кац — врач. Оба там воевали, но не в бригаде Домбровского.

С Дворниковым они не встречались, но слышали о нем много. Особенно после 28 августа 1937 года, когда был осуществлен известный в армии ночной поход на Вильямайор. Это была дерзкая по отваге вылазка. Тогда еще Луиджи Лонго, нынешний генеральный секретарь ЦК Компартии Италии,— в Испании он был главным комиссаром интернациональных бригад,— в особом приказе отметил этот поход.

И здесь начинаются споры. Одни утверждают, что Томашевич был комиссаром танкового батальона, а другие это отрицают, так как в интербригаде танкового батальона не было. В споре упоминается еще одно имя — Березин. И я вспоминаю, кажется, в книге «Поляки в испанской войне» говорится, что в сентябре 1937 года была создана противотанковая батарея. Командиром был назначен русский Березин.

— Скажите, а Березин жив? — спрашиваю я.
— Жив, работает,— отвечают мне.
Я записываю его адрес и домашний телефон.
Звонить начинаю с самого утра, но только поздно вечером из квартиры Березина слышится спокойный мужской голос:
— Я вас слушаю.
— Извините, но мне надо поговорить с вами о Томашевиче.
— О Николае Дворникове?
— Да. Я специально приехал, чтобы кое-что узнать о нем.
— Что ж, приходите прямо сейчас.
— Сейчас? Двенадцатый час ночи уже. Неудобно.
— Ну, тогда завтра в шесть часов вечера. Устраивает?
На другой день я сижу у него и задаю традиционный вопрос:
— Как вы оказались в Испании?
Удлиненное, в баках, лицо Александра Карловича расходится в улыбке.
— Как и многие другие,— отвечает он. — Вначале у меня деликатно спросили: «Поехали бы вы туда?..» И когда я узнал, что есть такая возможность, уже не успокоился, пока мне не разрешили поехать.
— Вы в это время были еще, конечно, холостяком? — спрашиваю я.
Он улыбается.
— Почему «конечно»? У меня была семья. Старшей дочери было 3 года, младшей 3 месяца. Давайте лучше не обо мне, а о Дворникове,— решительно говорит Березин.
— Что ж, давайте,— соглашаюсь я. — Мы очень многого о нем не знаем, особенно испанских страниц его жизни.
— Я воевал с ним в одной бригаде, но тоже знаю о нем немного,— говорит Александр Карлович.— Например, то, что он был участником революционного подполья в Западной Белоруссии, я узнал только после его гибели. Это был цельный, скромный и сильный человек. Я бы сказал, выносливый не только физически. Знаете, Мадридский и Арагонский фронты, тяжелый климат, безводье, горные дороги. Собрались

люди разных национальностей. Главной трудностью для комиссаров была многопартийность бойцов. У нас было около шестидесяти процентов испанцев, а среди них социалисты, анархисты, представители других буржуазных партий. Здесь сила, выдержка, воля нужны были большие. Я командовал противотанковой батареей, и мне приходилось с батальоном Станислава взаимодействовать. В нем удачно сочетались командир и политработник. Помню, как умно и стойко отражал он атаки франкистов под Вилла Франко... А вы бы видели, как он вел людей в штыковую атаку! Люди не верили, что он до этого не был в армии. Многие были убеждены, что он кадровый офицер.

Долго еще рассказывает об Испании, о Дворникове-Томашевиче Александр Карлович, время бежит незаметно. Часы показывают двенадцать. Хозяину завтра на работу, но он вспоминает горячие споры, когда давалось батальону название, вспоминает встречу с Анной Зегерс, Алексеем Толстым и Михаилом Кольцовым. Чертит мне в блокноте подробный план боя у Эстремадурских предгорий.

Далеко за полночь заканчиваем мы нашу беседу.

Полный впечатлений, приезжаю домой, к себе в Гомель, и нахожу письмо из испанской секции Комитета ветеранов войны. Пишет бывший дивизионный комиссар Иван Никифорович Нестеренко.

Перед поездкой в Москву я прочитал в сборнике «Под знаменем Испанской республики» его статью. Написал ему и, не получив ответа, решил, что он куда-нибудь уехал. Увлеченный реакцией «испанцев», я даже не спросил у них о Нестеренко и не знал, что он-то и является председателем этой секции.

В ответе говорилось:

«Издательство «Наука» переслало мне Ваше письмо. Оно напомнило мне об одной встрече с комиссаром интернационального батальона имени Палафокса Станиславом Томашевичем на фронте в Испании. Подобных встреч было немало. Но память о них потускнела или совсем стерлась за тридцать лет. Эта же встреча с Томашевичем не раз приходила мне на память. Рассказав о своей комиссарской работе и с грустным юмором обрисовав отношения с анархистами, он пленил меня не только непоколебимой верой в пра-

воту нашего дела, но еще и тем, что мы оказались с ним земляками. Я прибыл в Испанию из Минского гарнизона, а он — коренной белорус, советский комсомолец, работал в Западной Белоруссии.

Вернувшись в ноябре 1937 года на родину, я не мог навести справок о Дворникове — не та была обстановка. А сейчас, узнав от вас, что этот чудесный юноша не забыт, я готов сделать все возможное, чтобы испанские страницы его жизни были освещены как можно полнее. Для этого нам придется обратиться в Варшаву. Это будет сделано на днях от имени Советского комитета ветеранов войны».

Иван Никифорович свое слово сдержал. Скоро у меня в руках оказались фотоклише некоторых документов и фамилии людей, сражавшихся в Испании. Я получил от него адреса И. Брауэриса, Ф. Воронище, а от них — фамилии и адреса других товарищей. Постепенно передо мною раскрывался испанский период жизни Станислава Томашевича — Николая Дворникова.

Был конец сентября. В Вильнюсе в это время года сыро. Я подошел к калитке, нашел засов и отодвинул его. Когда открыл дверку, увидел большой сад, в котором было много цветов. Каменные плиты дорожки привели меня к домику. Я поднялся по ступенькам и постучал. Мне никто не ответил. Постучал еще раз — то же самое.

На такой вариант я совсем не рассчитывал.

Уезжать ни с чем не хотелось, и на другой день я опять у знакомой калитки. На этот раз хозяева были дома.

— Очень рад, что застал вас,— сказал я.

— А где же нам быть? — вопросительно посмотрели на меня муж с женой.

— Мне сказали, что вы, очевидно, уехали к бабушке...

— Нет, все одновременно мы уходим редко. Здесь была совсем другая причина,— объяснил мне вчерашнее отсутствие хозяин дома Семен Алексеевич Эйхер-Лорке. — Шел польский фильм «Пепел», а в нем Сарагоса, которую 29 лет назад штурмовал глава этой

семьи, лейтенант республиканской армии Испании Эйхер-Лорке.

Все заулыбались, как бы подтверждая этим правильность сказанного.

— Раздевайтесь и присаживайтесь к столу, будем обедать,— пригласила жена Эйхер-Лорке — Нина Владимировна.

— Может быть, сначала поговорим о деле? — предложил я.

— А мы сразу и обед, и дело,— поддержал жену Семен Алексеевич.

Он был в те годы рабочим-столяром, членом Компартии Западной Белоруссии, активным подпольщиком.

— «Виновница» всему Раиса Абрамовна Пиришко, тогда еще молодая, но уже опытная большевичка,— вспоминает Эйхер-Лорке. — Раиса предложила мне нести на демонстрации красное знамя. Это было мое боевое крещение, так как полиция потом разогнала демонстрацию. А во время фашистского мятежа я уже был в Картуз-Березе. Об этом лагере политзаключенных написано много. Поэтому я рассказывать о нем не буду, а скажу только, что мне там крупно повезло.

— Я в недоумении: Картуз-Береза и... повезло?

— Ну, да! — подтверждает Семен Алексеевич. — Во время работы я упал с тяжелым грузом и разбил голову. Врач признал сотрясение мозга. Тюремщики уже думали, что дни мои сочтены. В таких случаях заключенных отпускали домой на «излечение». Отпустили и меня. А через два дня я пошел в окружком, получил там 20 злотых и путевку в Испанию. В Варшаве мне дали еще 20 злотых, и вместе с одним товарищем я отправился в путь. Вас интересует, как мы шли? — Семен Алексеевич улыбается.— Как и другие... Все шло хорошо, пока в Австрии нас не арестовали. За что? Как злостных фальшивомонетчиков. Мы хотели разменять шиллинги — к нам и придрались. Месяц продержали в зальцбургской крепости, а потом отправили обратно в Чехословакию.

— Ну, и что же дальше? — спросил я.

— Мы повторили этот путь сначала. Только были уже умнее, старались как можно меньше бросаться

в глаза,— ответил хозяин дома. — Так оказались в Париже. А там уже с помощью французов через Пиренеи. Был октябрь месяц, холодно. А огня разжигать нельзя. Дабрались до Фигераса. Ну, Фигерас — это уже Испания. Дальше было Альбасете, были бои под Мадридом, батальон имени Палафокса, комиссар Станислав Томашевич, дружба с ним от первого до последнего дня.

Когда встали из-за стола, хозяин принес из другой комнаты общую тетрадь в прочном переплете. На ней было написано: «Дневник цветовода».

Из дальнейшего разговора я узнал следующее:

Вернувшись с полей Великой Отечественной войны, Семен Алексеевич становится цветоводом, и, надо сказать, неплохим. Некоторые его работы отмечены наградами ВДНХ СССР. Сейчас он заведует производственной эстетикой одного из заводов Вильнюса. У него есть письмо, в котором выставка ставит в известность товарища Эйхер-Лорке, что выращенный им гладиолус «фиолетово-красный с синеватым оттенком, по краям более темной росписью, размером до 15 сантиметров под названием «Комиссар Томашевич», сын гладиолуса «Долорес Ибаррури», получил 4,7 балла».

Не забыл лейтенант республиканской армии своего комиссара!

Гладиолус — цветок мужественный. Он борется за жизнь до последнего. После того как умирает один цветок, сверху на стебле распускается другой.

Воспоминания Северина Айзнера, Михаила Брона, Иеза Мрозека, Иосифа Вишневского, Александра Цвика, Александра Шурека и других бойцов-антифашистов дали мне возможность представить себе содержание почти года жизни Николая Дворникова — товарища Герасима — Станислава Томашевича в сражающейся Испании.

ПАРИЖ — АЛЬБАСЕТЕ

Позади Чехословакия, Австрия, Швейцария. А впереди — не просто даже выговорить — Париж!

Как мечтал о нем когда-то Коля Дворников! Сколь-

ко в Залинейном районе слышал он былей и небылиц об этом городе.

Дядя Исай, местный волшебник-портняжка, как-то увидел у Кати журнал мод.

Долго рассматривал его, потом спросил:

— Откуда?

— Из Парижа.

— Что ж, они тоже, наверное, чего-нибудь умеют. А далеко отсюда Париж?

— Около трех тысяч верст.

— Какая глушь! — вздохнул дядя Исай.

Когда Николай подрос, кроме Жюля Верна он познакомился еще с Гюго и Золя, и Париж вставал перед ним в ореоле города-борца. Но этот город — не только история. Совсем недавно парижане решительно преградили дорогу фашизму.

И вот он, Николай Дворников, на Марсовом поле. Разыскивает Советский павильон Всемирной выставки. Долго смотрит на серп и молот — символ Страны Советов — в скульптурной композиции Веры Мухиной. С большим уважением и интересом рассматривают ее парижане. Парень из Гомеля встречает здесь, среди других, экспонаты «Гомсельмаша».

Большую часть времени в Париже Дворников проводит в комитете, что занимается отправкой интернационалистов в сражающуюся Испанию. Он помогает готовить очередные группы. Граница теперь охраняется крепко, не то что в первые дни мятежа. Ведь Франция за «невмешательство». Да и анархисты с той стороны «помогают»...

И вот он, долгожданный день марта 1937 года. Отправляется очередная партия «туристов». Пограничник проверил пачку удостоверений и список возвращающихся на родину, поежился, оглянулся вокруг: офицера рядом не было. Он улыбнулся, еще раз посмотрел на эти нетуристские, уставшие лица и сказал:

— Ладно, езжайте.

В полной тишине автобус тронулся дальше. И как только колеса зашуршали по испанской земле, кто-то тихо затянул Интернационал.

— Рано поете,— сказал руководитель группы,— впереди испанский пост.

— Подумаешь, Испания ведь! — ответили ему.

Но нервозность проводника передалась всем.

Испанский пограничник — пожилой сержант — посмотрел документы, ткнул пальцем сначала в один, а потом во второй чемоданы. Их открыли. Там были белье, мыло, французские газеты. Сержант хотел махнуть рукой, но два других в черных беретах сказали ему:

— Не спеши.

Они взяли документы и стали внимательно читать, всматриваться в подписи.

— Значит, возвращаетесь на родину,— обратился один из них к Дворникову.

Николай только кивал головой.

— Этот парень, очевидно, забыл на чужбине родной язык,— насмешливо сказал первый пограничник второму.

Проводник, стараясь быть сдержанным, ответил напрямую:

— Понимаете, мы же интернационалисты, люди разных национальностей. Едем помогать вам быстрее разделаться с Франко.

— А коммунисты среди вас есть?

— Есть и коммунисты,— с готовностью сказал проводник.

— А кто вас звал? — закричал младший, совсем юнец с темным пушком над губой. — С франкистами мы и без вас справимся. Вы едете помогать только коммунистам. Пусть едут обратно.

— Подумайте,— мягко возразил проводник,— что вы делаете. Здесь люди со всех концов земли. Поедем в Фигерас, там разберемся.

— Ладно,— сказал старший берет,— поезжай с ними.

Ребята приуныли. Они не знали, что недавно анархисты устроили в Барселоне путч. Хотели вонзить республике нож в спину. Пытались захватить банк, где лежит народное золото, проникнуть в полицейское управление, где хранятся уголовные дела некоторых из этих деятелей.

Отдельных анархистов дела интересовали даже больше, чем золото.

Рабочие Барселоны вместе с коммунистами приве-

ли путчистов в чувство. Находившиеся в то время в Барселоне интернационалисты приняли активное участие в ликвидации путча. И понятно, что многие из этих молодчиков возненавидели интернационалистов и крепко охраняли от них границу. Тем более что охранять границу от интернационалистов куда легче, чем Мадрид от франкистов...

Когда они въехали в крепость, их окружила возбужденная толпа. Младший берет ей что-то объяснил.

— Пойдем к коменданту,— сказал он проводнику.

Только через час вернулся руководитель группы. Вид у него был невеселый.

— Кретины,— сказал он.— Им не нравятся наши документы. Придется день здесь посидеть, пока они проверят. Комендант сказал: «Интернируем либо во Францию, либо в Барселону». Логика!

Через некоторое время пришли четыре вооруженных юнца и крикнули:

— Выходите!

— Так мы что — арестованы? Ребята, нужна выдержка!

Всех повели в большое, обшарпанное, казарменного типа помещение. На нарах кучками лежала солома.

— Здесь будете ожидать.

Прошло два томительных дня. Дворников и Ткачев разрабатывали план побега. Двери охранял подросток с ружьем, которое вряд ли было заряжено.

— Ночью, когда они дрыхнут, вырвемся из местечка, а там разыщем коммунистов, рабочих. Конечно, это рискованно. Но сидеть здесь тоже нету смысла.

План уже был обсужден, когда двери раскрылись и часовой крикнул:

— Встать! Комендант гарнизона.

Молодой, с красиво посаженной головкой, похожий на девушку юноша горячо заговорил.

Когда он окончил, переводчик сказал:

— Чужеземцы, мы отправляем вас в Барселону. Но я от имени анархистов Иберии и всех анархистов Испании предупреждаю: если кто-нибудь сюда приехал, чтобы помогать одной какой-либо партии, то беспощадный гнев нашего народа испепелит его.

Переводчик кончил. Будничным голосом комендант добавил еще что-то.

— Через два часа вас отправят к барселонскому поезду.

И вот они в вагоне. Сколько пережито! Но это уже неважно, они снова в пути.

Линия железной дороги проложена вдоль побережья. Как в панораме, пробегают тихие лагуны, голубые заливы, рыбачьи поселки. Далеко в море белеют паруса рыбаков. А с другой стороны поезда горы чередуются с равнинами.

В Барселоне все вопросы были улажены, и Дворников снова сел в поезд. Теперь он мчится в Альбасете. Николай смотрит на проплывающие сады, густо облепленные маленькими розовыми цветочками.

— Как рано цветут здесь яблони! — говорит посланец далекой Белоруссии.

— Это не яблони, а миндаль,— поправляют его.

Так вот она какая Испания!

Приближение к конечной цели радует, а что-то и удивляет. Дерево оливы,— всего одно дерево,— а вокруг ограда. Зачем? Многое еще будет непонятно Николаю. Со многим он столкнется впервые. Сейчас он вспомнил, как за несколько минут до отправления из Франции у них спросили: «Не передумал ли кто с отъездом?..»

Представитель комитета еще раз напомнил, что впереди у них тяжелый переход через границу, трудная война. Товарищи могут отказаться. Никаких претензий им предъявлено не будет.

Уже вся группа снова подтвердила свою готовность, как прибежал пожилой усатый человек и набросился на молодого парня. Он ругал его самыми злыми словами и при этом говорил:

— У тебя жена и маленький ребенок. Чем ты им поможешь, Дон-Кихот несчастный?

Слово «Дон-Кихот» он повторил много раз, и это было единственное, что хорошо понял Николай. Когда прозвучал приказ двигаться, у старика перекосилось лицо. Он заплакал, нагнулся и стал жадно целовать парня, повторяя: «Дон-Кихот...»

Но сейчас это была уже не укоризна.

И вот Николай Дворников в Альбасете. Ночью

франкисты бомбили город. То в одном месте, то в другом вместо усадистых, словно купеческие комоды, одноэтажных и двухэтажных домов лежали развалины. Была разбита Саламанка — магистральная улица города с десятками мелких лавочек, складами масла и вин, кофейнями, ставшими в те дни дискуссионными клубами Народного фронта. Бомбы перепахали арену для боя быков.

Фашисты снесли с лица земли жилища батраков на окраине города, но сохранили в целости дом сбежавшего к ним барона.

Мрачные, потрясенные свалившимся на них горем, одетые в черное женщины и седые старики грузили на повозки с высокими колесами, напоминавшими наши арбы, детей, раненых, нехитрый свой скарб. Не имеющие повозок грузились на худые спины ослов. Те тревожно, как и люди, подымали головы к смертоносному небу.

Первый, кого встретил Дворников, был Брауэрис. Молодой, крепко сбитый человек в форме майора испанской армии спросил:

— Будем говорить по-испански?

Николай молча его разглядывал, как бы говоря: «Посмотрим сначала, что ты за человек?..»

— По-французски?

— По-польски,— предложил новичок.

Майор внимательно посмотрел на его лицо и, лукаво прищурившись, произнес:

— А может, по-русски?..

— Можно и по-русски,— широко улыбаясь, сказал Дворников.

— Как вы себя будете здесь называть?

Там, в Западной Белоруссии, кличка обычно согласовывалась с организацией. Николай вспомнил, как, явившись первый раз на нелегальную квартиру, один товарищ на такой вопрос ответил:

— Я-я еще н-не знаю...

Этим он сразу поверг хозяйку квартиры в тревогу и недоверие.

А вот теперь надо менять фамилию и Дворникову.

— Станиславом Томашевичем,— сказал он, немного подумав.

— Брауэрис,— отрекомендовался майор.

Они разговорились и установили, что являются в какой-то мере земляками. Майор родился и вырос в Вильно. Все, что касалось этого города, было дорого обоим. Это было хорошим началом.

А Станислав Томашевич после этого разговора твердо решил: надо изучать испанский.

Так же упорно, как в Западной Белоруссии, он изучал польский язык, теперь взялся за испанский. Брауэрис продиктовал Станиславу первые двадцать слов, среди которых слово «хлеб» стояло рядом со словом «свобода», а слово «война» — со словом «мир».

Через некоторое время Станислав встретил товарищей по подполью. Вечерами они собирались вместе, вспоминали прошлое, говорили о будущем.

Дни были до краев заполнены учебой.

Вскоре Томашевич встретил человека, чье имя у всех польских добровольцев вызывало особую симпатию.

Выше среднего роста, худой, с грустными глазами,— он давно страдал туберкулезом,— человек этот обладал огромной силой воли и добрым сердцем. Его любили все, кто знал, а того, кто хоть раз его слышал, он покорял всепроникающей силой убеждения, которое шло от души.

Семен Алексеевич Эйхер-Лорке рассказывал мне о том, как в апреле 1937 года Густав Рваль вручал батальону имени Домбровского знамя Центрального Комитета Компартии Польши.

— Прошло вот уже 30 лет,— говорил Семен Алексеевич,— я многое видел и пережил. Воевал в Испании, командовал пулеметным взводом в Великую Отечественную войну. Но я никогда не забуду тех минут, когда товарищ Рваль передавал нам под Мадридом знамя нашей партии.

Он сделал небольшую паузу, потом продолжал:

— День был ветреный, ясный. Рваль стоял перед нами, и лицо его было мягким, одухотворенным. Голос задушевным. Мне трудно повторить его речь. Я помню лишь отдельные фразы. Мы видели, как он закашлялся и быстро спрятал в карман платок.

Он сказал:

— Польский народ низко кланяется вам, лучшие дети Польши, за ваше мужество, за ваш ратный труд,

за пролитую вами кровь.— Немного передохнув, он продолжил: — Я горжусь тем, что ЦК партии поручил мне передать это знамя в ваши верные руки. Пусть оно ведет вас к новым победам. Пусть оно вам напоминает родной край, в котором вас не забыли, помнят, любят и ждут. Пусть напоминает еще и о том, что вы боретесь здесь не только за свободу Испании, но и за свободу Польши.

Рваль низко поклонился нам и закончил:

— Лучшие дети Польши! Польский народ благодарит вас и надеется на вас.

Древко знамени перешло в руки Яна Барвинского. Янек не любил говорить длинно. Он очень волновался, сказал всего несколько слов. Потом говорил Тадеуш Опман.

Встреча с этим человеком оставила в душе Станислава большой след. Но это была не единственная счастливая встреча в Испании.

КОМИССАР БАТАЛЬОНА

Приезд Роберта Белорусского (как называет Дворникова в письмах в ЦК Густав Рваль) был очень важен и для Рваля. Он ждал таких людей с нетерпением. Чтобы понять это, надо сказать несколько слов о положении с политическими работниками в интербригаде.

Под знаменем Испанской республики дралось несколько тысяч поляков. В значительной мере это были люди из Франции, эмигрировавшие в свое время из Польши. Многих выгнала безработица. Политически они созрели уже в эмиграции. Там же, во Франции, они вступили в коммунистическую партию. Некоторые из них прошли военную подготовку.

Поляки дали много боевых, талантливых командиров.

Но Рваль смотрел и в завтрашний день. Ему нужны были люди, которые потом применят в Польше опыт испанской войны. Известно, что те из «испанцев», которые после добрались до Польши, показывали на родине примеры исключительного героизма в борьбе с немецкими оккупантами. Некоторые из них, как, на-

пример, генерал Вальтер — Кароль Сверчевский, командир интернациональной дивизии, в Отечественную войну командовал Второй польской армией и вместе с советскими войсками освобождал Варшаву от немецких захватчиков.

Но политработники требовались уже сейчас, сегодня. В отчете ЦК Компартии Польши от 7 мая 1937 года Густав Рваль писал, что недоволен комиссаром батальона имени Домбровского, но его некем сейчас заменить.

Волна сочувствия испанскому народу вместе с закаленными революционерами привлекла и легковесную, авантюристическую публику, не говоря уже об анархистах. Эту неорганизованную массу надо было превратить в отряды сознательных, дисциплинированных солдат. Нужны были опытные политические работники, люди, которые сочетали бы в себе личное обаяние и мужество с опытом массовой пропагандистской работы.

Когда Рваль писал последнее отчетное письмо в ЦК, он еще не знал, что Дворников в Испании. В письме от 31 мая он уже сообщает: «Прибыл Роберт Белорусский (Дворников), я встретился с ним на одном из участков фронта».

А в июне 1937 года формируется 6-я рота батальона имени Домбровского, послужившая базой для развертывания батальона имени Палафокса.

В последующих письмах Рваля в ЦК имя комиссара батальона Палафокс Станислава Томашевича и командира этого батальона Яна Ткачева встречается неоднократно.

Испания по-настоящему не воевала со времени наполеоновского нашествия, т. е. более ста лет. Здесь стреляли только помещики и жандармы. Помещики — дичь на своих землях, а жандармы — в крестьян, пытавшихся охотиться в этих местах.

И вот теперь, используя иностранные легионы и дикие марокканские дивизии, помещики и банкиры, монахи и фашистские генералы,— вся эта грязная накипь,— ринулась на народ Испании. Богатеи никогда не считали крестьян Эстремадуры и Андалузии, горня-

ков Астурии, металлистов и химиков Барселоны ни своим народом, ни людьми вообще.

Против республики выступала не только своя реакция. Выступала военная машина трех фашистских государств и под флагом «невмешательства» все европейские, так называемые «демократические» государства во главе с хваленой заокеанской «демократией» США, снабжавшей все эти годы Франко горючим и первоклассным оружием.

Через португальские порты и аэродромы, а также другими путями широким потоком шло в лагерь мятежников все необходимое для ведения войны. А в это время сотни орудий, самолетов и тысячи пулеметов, оплаченные золотом республики, не пропускались в страну из-за политики так называемого «невмешательства».

Нужно ли удивляться тому, что Франко назначил парад своим войскам в Мадриде уже на 7 ноября 1936 года.

Но ни в ноябре 1936 года, ни в 1937 и 1938 годах Франко Мадрид не взял. Мадрид предала кучка предателей во главе с полковником Касадо, командующим войсками Центра, правым социалистом Бестейро и полковником Мера.

Это будет в конце войны — в марте 1939 года.

А в те осенние дни 1936 года по зову коммунистов из рабочих, служащих, крестьян и интеллигенции, никогда не державших в руках оружие, создаются отряды народной милиции, центурии, просто группы. Стеной они становятся у ворот Мадрида. Враг уже штурмует Университетский городок, врывается на окраины испанской столицы. Но... Это лишь мобилизует. Слабые и неустойчивые покидают город. Это верно. Не успевает в Мадриде разорваться первый фашистский снаряд, как глава правительства социалист Ларго Кабальеро эвакуируется. Он пылит по валенсийской дороге, а в городе продолжают висеть плакаты в честь «правительства победы»...

Трудовой же народ Испании и не думает сдаваться.

Защита Мадрида, вернее сдача его, поручена бригадному генералу Хосе Миахе. Тому самому, которого Прието называет «буро» — осел. Его долго ищут, чтобы

вручить приказ о назначении. Но дело обороны Мадрида берут в свои руки коммунисты, берут рабочие, преданные народу социалисты и интеллигенты,— берет народ Испании.

Во всю силу в эти дни разворачивают свою организаторскую работу, демонстрируют свою преданность республике, мужество и волю коммунисты. Их, как и испанский народ, не деморализовали снаряды Франко. Они, коммунисты,— душа обороны столицы Испании.

Варварские бомбардировки, опасность и близость врага привели к другому: на арену борьбы вышел народ. «Но пасаран!» — Они не пройдут! — сказал он устами Долорес Ибаррури. «Но пасаран!» — кричат полосы газет, стены домов, сжатые в кулак пальцы рук.

Около ста сорока тысяч коммунистов бросает партия на фронт. Руководителей Компартии Испании Хосе Диаса, Долорес Ибаррури, Чека, Михе видят на самых опасных участках фронта.

Отряды в эти часы создаются так. Впереди идет оркестр. За ним несут огромный плакат: «Республика в опасности! Все на защиту Мадрида!» Оркестр играет, группа движется. По пути она растет. Через два часа колонна идет на фронт. Оружие — какое есть. Часто это карабины, помнящие испано-американскую войну 1898 года. Кому не досталось — добудет на фронте.

Потом ребятишки понесут в сумочках отцам и братьям еду. Фронт рядом. Отдав еду, они возьмут лопаты и вместе с матерями и сестрами за спиной отцов будут строить вторую линию обороны.

Коммунисты понимают: против вышколенных орд Гитлера и Муссолини нужна дисциплинированная и идейно сплоченная армия. Они не только агитируют за это. Они создают Пятый полк. Это и воинская часть, и кузница кадров. Ею руководит прославленный командир — рабочий, каменщик Энрике Листер. Скоро тысячи обученных в этом полку офицеров и солдат будут воевать на многих участках фронта республики, показывая всем пример дисциплины и героизма.

Коммунистам приходится преодолевать тупую косность бездарного правительства Кабальеро, прислушивающегося к реакционным генералам, которые считают, что испанец не привык к дисциплине, что он по природе партизан.

Глава правительства хвастливо заявил:

— Испанец не станет окапываться. Он идет на врага открытой грудью.

Сам-то он поспешно ретировался, увез свою широкую грудь в Валенсию. А сколько крови стоили эти пустые слова...

Кабальеро и его приближенные против создания армии еще и потому, что за нее выступают коммунисты. Самоотверженное поведение коммунистов, их беззаветная храбрость и самообладание привлекают к ним сотни тысяч рабочих, крестьян и интеллигентов. Их авторитет растет, влияние в массах увеличивается. Похоже, что Ларго Кабальеро боится этого не меньше, чем победы Франко.

Против армии активно выступают анархисты. Это, видите ли, противно их политическим убеждениям. Но жизнь, практика боев показывают, что без этого не обойтись, и армия создается. Правда, анархисты решили назвать свои штабы комитетами. Но от этого они воюют нисколько не лучше.

— Они у меня сахарные,— говорит один из наиболее честных лидеров анархистов Дуррути. — Стоит пройти дождю, как там, где было двое, остается один.

Этот человек, которому знакомы камеры многих тюрем Европы, понял — коммунисты правы. Нужны регулярная армия и железная дисциплина. Без этого не будет победы. Но как только он об этом скажет, получит в спину «шальную» пулю.

В дискуссионных спорах и непрерывных боях, с большими трудностями создается армия республиканской Испании. Институт политических комиссаров создается сначала в частях, где большинство коммунисты, а потом и во всех остальных. Партийные и профсоюзные организации ставят на эти посты лучших людей. Под нажимом компартии, левых социалистов и представителей армии Ларго Кабальеро подписывает декрет о создании генерального политического комиссариата. Генеральным комиссаром назначается выдающийся деятель испанской революции, министр иностранных дел республики, левый социалист Альварес дель Вайо.

Основная задача политических комиссаров — организация боевых частей, создание в кратчайшие сроки

народной армии, укрепление дисциплины, повышение политической сознательности бойцов.

Первый съезд комиссаров, проходивший в апреле 1937 года в Альбасете, констатирует: «Комиссары с честью выполняют свой долг. Только под Мадридом погибло 32 комиссара, тяжело ранено 56».

Комиссар имеет единственную привилегию — первым погибнуть в бою. Обязанностей много. Комиссар — тот человек, который внес в армию чувство долга и ответственности. «Темная форма комиссаров — излюбленная цель мятежников. Они знают, что комиссары — сердце армии, и повсюду выискивают их и берут на прицел! Сколько их уже пало на фронтах, своей смертью подавая пример всем, кто сражался с ними рядом!» — говорила в те дни Долорес Ибаррури.

Ларго Кабальеро пытается превратить комиссаров, политработников, личным примером показывающих, как надо драться за республику, в канцеляристов. Преследуется, по сути дела, прежняя цель: ликвидация института политических комиссаров.

Коммунисты и социалисты, профессиональные революционеры комиссариат отстояли. Показателен факт: чем ближе была часть к фронту, тем больше в ней было комиссаров-коммунистов. В ротах их было до 90 процентов, в батальонах — 75, а в бригадах — около половины политсостава.

Армия не только воевала — она училась. Более 60 процентов испанских солдат были неграмотны. И комиссары их учили. В перерывах между боями роты превращались в школы. Армия училась не только воевать, но также читать и писать.

«После тьмы — надеюсь на свет»,— написал Сервантес на гербе Дон-Кихота, защитника обездоленных. И эти люди, только что шагнувшие из тьмы и увидевшие первые проблески свободы, уже не хотели с ней расставаться. Свобода им нужна была не только для того, чтобы лучше есть и одеваться, людьми овладела жажда знаний.

Утолить эту жажду должны были комиссары. Они должны были сплачивать, организовывать, учить буквально всему: от написания букв до умения владеть оружием. Должны были учить бдительности, умению предупреждать измену. Она была довольно частым яв-

лением, порождала недоверие солдат к честным кадровым офицерам. И с этим тоже надо было бороться.

Всю эту разношерстную, многонациональную массу надо было превратить в крепко спаянный армейский организм.

Вот в какую корпорацию волей партии в июне 1937 года вошел Станислав Томашевич, закаленный большевистским подпольем комсомольский работник и к этому времени уже обстрелянный солдат.

Иван Остапкин, нынешний бригадир «Гомсельмаша», которого Николай Дворников в двадцатых годах готовил к вступлению в комсомол, вспоминает:

— Когда меня выбрали в бюро комсомольской ячейки «Белгосстроя», я должен был составить план работы экономотдела, но сколько ни мучился, у меня ничего не получалось. У других членов бюро то же самое.

Тогда Николай сказал:

— Соберемся и попробуем сделать вместе.

Когда собрались, он предложил:

— Ну, давайте будем вслух думать о том, что надо делать завтра, послезавтра, через неделю.

— Стали думать,— продолжает Остапкин,— и выработали хороший план.

И вот, сидя сейчас в избушке испанского крестьянина, — только вчера их вывели после тяжелых боев под Брунете на неделю отдыха,— Станислав Томашевич с группой товарищей думает вслух о том, что им надо делать сегодня, завтра, в течение этой недели. Сквозь разбитые окна проникает освежающий ветерок, а они сидят и размышляют.

Составляется план политической работы роты — документ, от реализации которого зависит многое.

Станислав говорит:

— Очень большое значение имеет знание языка. Чтобы лучше знать народ, свободу которого мы приехали защищать, надо с ним общаться и подружиться. А это значит — надо с ним разговаривать. С 22 июня вся наша рота изучает испанский язык. Занятия проводим ежедневно, по взводам.

— Каждый день! — охнул кто-то.

— А много у тебя наберется тех дней,— сказал Збышек Бухгольц.— Бои ведь.

— Политделегаты по взводам проведут беседы о необходимости знания языка. Пособиями обеспечим,— продолжает Станислав.— Преподавать будут товарищи из Латинской Америки. Каждый день проводим во взводах беседы о политической обстановке в стране и отвечаем на вопросы бойцов. Надо выпустить ротную стенгазету и подготовить доклад о методах работы пятой колонны. Ну, и организовать кружки по ликвидации неграмотности и общеобразовательный.

Они сидели и живо обсуждали каждый пункт плана.

Кто-то сказал:

— Не много ли?

Командир роты Ян Ткачев напомнил:

— А бои?..

В это время в избушку вошли два человека. Их сразу окружили.

— Рваль,— шепнул молодой боец Иона своему соседу.

Да, это был Рваль. Лицо его в бледных розовых пятнах, загорело. Он посмотрел на собравшихся и улыбнулся. Рядом с ним стоял чуть пониже его ростом плечистый мужчина.

— Вот, ребята, товарищ из Альбасете,— сказал Рваль.

Людей из штаба фронтовики недолюбливали, и некоторые лица нахмурились.

А Рваль, улыбаясь, добавил:

— И мой друг — Циховский.

Присутствующие окружили их. Ветераны подполья знали это имя. Циховский был одним из старых деятелей польского рабочего движения. В свое время член политбюро Компартии Польши, он в последние годы работал в Коминтерне. Фашистский мятеж застал его в Мадриде, и он стал одним из организаторов штаба интербригады в Альбасете, заняв там пост начальника отдела кадров.

Выходец из аристократической среды, этот человек прошел не один этап и знал не одну польскую тюрьму. Циховский имел слабое зрение и носил на шее цепочку с моноклем. Легким, почти неприметным движением, подкинув монокль к глазу, он с интересом всматривался в людей, с которыми знакомил его Рваль.

Здороваясь с каждым, Рваль называл имена: Томас из Кракова, Ян из Ржешева, Збышек и Мрозек из Варшавы, Рубинштейн из Белостока, Томашевич из Вильно, Иона из Львова...

— Да тут, хлопцы, вся Польша! Иона,— сказал Рваль, «боязливо» отстраняясь от парня,— ты, брат, так вооружен, что к тебе и подойти страшно!..

Все заулыбались. Действительно, контраст между щуплой фигурой юноши, его почти детским лицом и висевшим на нем грозным оружием был разителен. «Ангел мира на войне»,— шутил Мрозек.

На самом деле этот парень уже в 19 лет был опытным подпольщиком, а сейчас командовал отделением разведчиков.

— Так чем вы тут, хлопцы, занимаетесь? — спросил Рваль, когда улыбки на лицах исчезли.

— Да вот наметки плана обсуждали,— ответил Станислав, передавая ему листочки.

Рваль сел на подоконник и внимательно, словно по складам, стал читать план.

— Послушай, Циховский, это интересно,— сказал он через некоторое время.

Разговоры в избушке прекратились.

— Это план на неделю? — глянул Рваль на Томашевича.

— Да, с 22 по 29 июня,— ответил Станислав.

— Перепиши нам по экземпляру,— попросил он и добавил: — Хороший план, если выполните.

— Будем стараться,— сказал Збышек.

Не зря просил Рваль у Томашевича этот план. Через несколько дней комиссар интербригад Галло (Луиджи Лонго) разослал его, как примерный, во все подразделения интернациональных бригад.

С первой же минуты своего пребывания в Испании Рваль поставил перед собой задачу создания интернациональной бригады имени Ярослава Домбровского. Люди для этого были. По количеству имеющихся бойцов можно было создать даже больше, чем бригаду.

Но стягивать поляков со всех частей было нельзя. Был бы нарушен интернациональный принцип их комплектования. Даже в бригаде Ярослава Домбровского больше половины должны были составлять испанцы. Сейчас это дело налаживалось.

По вопросу комплектования Рваль беседовал с военным министром Прието. Этого визита требовала не только вежливость — требовали интересы Испанской республики.

Социалист Прието, десятки раз предававший интересы рабочих, от имени которых он выступал, и снова сидевший в министерском кресле, ни во что не верил. Не верил в дело, за которое боролся народ Испании, боролись тысячи антифашистов.

Прието не верил в победу республиканцев и даже боялся ее.

Потом он скажет: «Положение было ужасное. Если победит фашизм — это очень плохо, но если победит республика, то усилятся коммунисты, а это тоже плохо...»

Не пройдет и года, как он бросит эту страну и уедет послом в Мексику писать воспоминания о причинах поражения Испанской республики.

А пока он сидит здесь — толстый и с виду сонный, а на самом деле хитрый — и ищет «свежие» доводы против создания новой интернациональной бригады.

— Запад смотрит на все это отрицательно,— говорит Прието.

— На что? — простодушно глядя на него, спрашивает Рваль и добавляет: — Какой Запад?

— Ну, во Франции и Англии у власти демократы. Во всяком случае, демократические правительства. Им не нравится участие в войне интернационалистов. Они рассматривают это чуть ли не как интервенцию,— поясняет министр.

— Пусть тогда заставят уйти немецких и итальянских фашистов, и мы немедленно уйдем,— возражает Рваль.— Впрочем, если вы считаете наше пребывание здесь лишним...— Он делает выжидательную паузу.

Прието мнется, а Рваль понимает: будь это во власти министра, он бы давно выгнал всех, кто пришел защищать Испанию от фашизма. Но, увы... В стране поднялись к активному участию в жизни глубокие пласты народа. Триста тысяч испанцев и испанок являются членами коммунистической партии. Это уже не та, прежняя партия, насчитывающая всего лишь каких-нибудь 800 человек, как это было в 1929 году. Сейчас это партия народа!

— Конечно, конечно,— мямлит Прието,— Испания вам благодарна.

«Это верно,— думает Рваль,— Испания, но не ты».

Совсем по-другому встречают в Генеральном политическом комиссариате. Глаза Альвареса дель Вайо лучатся дружбой. Кажется, что не только двери — душу открыл перед собеседником этот чудесный испанец. Ему помогают русские парни: комиссар Нестеренко и другие.

Сформировалась бригада имени Ярослава Домбровского к середине апреля 1937 года. В конце июня все было готово для формирования нового батальона.

Все было необычно в 6-й роте, начиная с ее номера. По штату в батальон входили четыре стрелковые и одна пулеметная роты — всего пять.

А здесь шестая...

И по количеству бойцов в других ротах 120 — 140 человек, а здесь больше двухсот. Была необычна эта рота и по своему составу. Здесь были уже закаленные революционеры, политические эмигранты, выходцы из Западной Украины и Западной Белоруссии, молодежь. Ядро составляли такие люди, как известный партийный функционер Томас Вишневский, комсомольский активист «Бобрус» (Борух Нисенбаум), Збышек Бухгольц, Алесь Якимчук, Фаддей Воронище, приехавший из далекой Аргентины Иван Маркевич и другие интернационалисты.

В роте были люди, которые в самые трудные дни ноября 1936 года, когда не только враги, а и некоторые друзья считали, что дни Мадрида сочтены, в составе 11-й и 12-й интербригад, вместе с лучшими людьми Испании отстояли Мадрид.

Эта рота стала базой для развертывания нового батальона имени Палафокса. В начале июля 1937 года в этом батальоне формируется украинско-белорусская рота имени Тараса Шевченко. Активное участие в ее комплектовании принимал комиссар Томашевич.

В статье «Шесть месяцев роты имени Тараса Шевченко», помещенной в сборнике «Домбровщаки», изданном в Варшаве в 1956 году, Станислав Томашевич писал:

«Восьмого июля рота была сформирована и сразу пошла в бой... Это были дни известного наступления республиканской армии под Брунете... Поэтому дата создания роты Шевченко памятная... Мы заняли позиции на линии Вильянуэва де ля Каньяда. Фашисты встретили нас ураганным артиллерийским огнем. Окапываться было некогда. Ямы, вырытые... артиллерийскими снарядами, служили нам окопами. Самую большую мы приспособили под санитарный пункт.

Ночью солдаты рыли траншеи, чтобы по-настоящему окопаться. Утром, разместившись в этих наспех приготовленных окопах, отражали бешеный натиск врага. Фашисты,— пишет дальше Станислав,— хотели любой ценой отбить забранные у них позиции... Целый ряд атак отбила бригада, а с ней и рота. Она доказала свою боеспособность, познала и горечь первых потерь... В роте властвует дух крепкой дисциплины, необходимый для республиканской армии. Она обстрелялась, показала, на что способны ее солдаты и командиры...»

В этой статье говорилось: «С точки зрения боевой подготовки рота стояла так высоко, что ее ставили в пример».

Томашевич писал о роте, но не писал о себе.

Не писал о том, что примером отваги и мужества был он сам.

Проживающий ныне в Варшаве Эдмунд Марциняк, связной комиссара батальона Палафокс, говорит: «Мой комиссар был самым храбрым офицером бригады. Его отвага пленяла, захватывала и вела нас. В его присутствии стыдно, просто невозможно было проявить трусость. Он был умелым воином... В бою под Вилия Муэлья де ля Франко Станислав во главе отряда в шестьдесят человек со взводом ручных пулеметов отбивал атаки двух батальонов — тысячного отряда франкистов. Когда после первой атаки был убит пулеметчик, он сам лег за пулемет. Франкисты тогда так и не прошли».

О Яне Ткачеве, который делил со Станиславом Томашевичем дни его испанской жизни и в одном с ним бою погиб, надо сказать особо. Судьба его показательна для известной части рабочих и крестьян, польской интеллигенции, поверивших в свое время Пилсудскому. Уверовавших в то, что его правительство создаст госу-

дарство, в котором каждому будет вдоволь работы, земли и хлеба.

Выходец из крестьян Ржешева, солдат австрийской армии Ян Ткачев кончает школу прапорщиков. В войне 1914—1918 гг. становится поручиком австрийской армии. В России в это время совершается Великая Октябрьская революция, раскрепостившая все народы бывшей царской империи. Мечтая о свободной Польше, Ян Ткачев вступает в армию Пилсудского.

Но вот окончилась война и создалась независимая Речь Посполитая. Думалось: настанет золотой век. Крестьянин получит землю, рабочий — оплаченный труд, дети тех и других — школу, весь народ — высокий уровень жизни и культуру.

Что же взамен этого видит молодой капитан? Ничего нового. Опять обманули народ Польши. Теперь уже не русский царь — обманул Пилсудский.

Миллионы крестьян как батрачили, так и батрачат на тех же помещиков. Те же радзивиллы, потоцкие, паскевичи как владели при царе сотнями тысяч десятин земли и огромными имениями, так и владеют. Как голодал на своем клочке малоземельный крестьянский люд, так и голодает. Как получал за свой труд гроши рабочий, так и получает.

А над сотнями тысяч безработных нависает угроза голодной смерти. Вместо школ строятся тюрьмы для недовольных.

Ушел капитан Ян Ткачев из армии Пилсудского, но не ушел из борьбы. Он становится организатором крестьянского движения против пилсудчиков, коммунистом, руководителем партийной организации района. Его бросают в Картуз-Березу. Вместо казармы — тюрьма.

Но вот он на воле. Надо бы отдохнуть, но не до этого. В Испании нужны военные специалисты, а он бывший кадровый офицер.

Так 44-летний коммунист, бывший офицер австрийской армии и армии Пилсудского находит свое настоящее место в жизни.

Они подружились со Станиславом сразу, хотя разница в годах у них не малая — пятнадцать лет. Их объединили большое общее дело, ненависть к фашизму, вера в победу.

Солдаты батальона любили и уважали Станислава Томашевича как старшего брата. К Яну Ткачеву они относились как к заботливому отцу.

ИМЕНИ ХОСЕ ПАЛАФОКСА

Работа у комиссара есть не только в бою, а и между боями — всегда. В бою комиссар дерется, и он это обязан делать лучше всех, по-комиссарски. Он должен быть смелым, не должен бояться смерти.

Одна из задач по комиссарскому плану — работа с населением. Бывало всякое: встречали недружелюбно, а провожали, как родных. Женщины даже плакали. Как много можно сделать за день, когда нет боя! Можно ознакомиться с новым оружием и обсудить итоги дня, провести занятия по испанскому языку и ответить на вопросы текущей политики.

А потом попеть и потанцевать.

Испанцы с удовольствием слушают бойцов. Им нравится все — и маршевые песни, и грустные лирические, и веселые. В свободный час интернационалисты помогают и дорогу починить, и хату покрыть, и урожай убрать.

А вечером — песни, шутки, танцы.

Воронище, Эйхер-Лорке и Березин рассказывали мне об этих незабываемых вечерах под испанским небом. Но я хочу привести выдержку из книги «Два года в Испании» Овадия Савича. Он в то время был корреспондентом «Комсомольской правды» и часто бывал у поляков.

«Я видел, как они веселились, танцевали друг с другом и на отдыхе — с испанками. Друг друга они при этом толкали, почти кидали на землю, а испанок охраняли...

Перед Уэской им выпало несколько дней отдыха. Деревня была глухая. В первый день им ничего не хотели продавать, с ними не хотели разговаривать. А через два дня они носили детей на руках, а женщины стирали им белье и обижались, когда солдаты предлагали деньги.

В последний день они устроили праздник для детей. Площадь была полна. Детей развлекали всевозможными играми, музыкой. Из своих скромных продоволь-

ственных ресурсов, из своих вещей они наготовили подарки — без подарка не остался ни один ребенок».

По окончании укомплектования должно было состояться организационное собрание нового батальона, и теперь обсуждался вопрос о его названии. По традициям, сложившимся в республиканской армии, подразделениям присваивались имена выдающихся революционеров, полководцев, борцов за свободу.

Уже кипели страсти, каждый предлагал свое. Название нужно было связать с лучшими традициями польского революционно-демократического движения, с борьбой народа, его будущим. Некоторые имена знаменитых людей Польши уже были присвоены подразделениям. И тогда Рваль предложил назвать батальон именем испанского генерала Хосе Палафокса.

Предложение было встречено без энтузиазма.

— Неужели у нас нет своих героев, славных людей, чтобы занимать имя у испанцев? — недоумевали поляки.

Многие заметили, что Рваль давно возит с собой какие-то три томика. Это был роман Стефана Жеромского «Пепел». Роман он получил в подарок от друзей, когда уезжал из Варшавы, и иногда по вечерам углублялся в чтение.

Однажды он сказал товарищам:

— Люблю Жеромского. Честный он человек и глубокий писатель. Единственный, пожалуй, среди польских писателей, кто разобрался в фигуре Наполеона и понял трагедию лучших людей Польши, которые ему поверили. Этих людей постигла печальная участь. Легионеры — борцы, мечтавшие о свободе своего отечества, стали участниками захватнических войн.

Домбровщаки были поражены страстностью, с какой говорил об этом Рваль. Многие из них плохо знали историю, а «Пепел» Стефана Жеромского читали единицы.

Теперь Рваль взял слово для обоснования своего предложения.

— Да, история польского народа богата историческими личностями,— сказал он.— Богатырей нам не занимать. Но почему я предлагаю присвоить батальону имя Хосе Палафокса? Это верно, что он был генералом испанской армии. Но мы помним и чествуем не гене-

рала, а 28-летнего капитана Хосе Палафокса, более ста лет назад возглавившего героическую оборону Сарагосы. Он был подлинным руководителем защиты своего отечества от полчищ Наполеона. Знаете, кто штурмовал этот город?.. Поляки, друзья мои. А народ Испании героически защищался.

Все притихли, а Рваль подвел итог:

— Присвоив батальону имя Хосе Палафокса, мы проявим уважение к народу Испании и еще раз покажем всем, что пришли на эту землю, чтобы помочь ее людям в их тяжелой борьбе против общего врага.

Он закашлялся, вынул платок, вытер им рот и быстро спрятал в карман. Но все заметили, что на платке появилось алое пятно...

Присутствующие, словно по команде, встали. И когда Станислав Томашевич спросил:

— Какие будут мнения по поводу наименования нашего батальона?

Все, как один, выдохнули:

— Палафокс!

Суровые условия лагерного быта были в этот день ослаблены. Группами сидели хозяева и гости на уже пожелтевшей под щедрым солнцем траве. Слышались разные языки и наречия. В одном углу танцевали под гармошку французы. Немного подальше испанцы под хлопки ладоней темпераментно отплясывали «хоту».

Станислав пошел к дальней группе. Здесь, в кругу испанцев, сидел немецкий писатель Людвиг Ренн и что-то объяснял бойцам, размахивая авторучкой. Он был начальником штаба батальона. О нем говорили, что и в бою он указывал направление атаки авторучкой. Какой-то высокий испанец, бывший шофер, читал стихи Гарсиа Лорки.

— Хорошо читает,— сказал заместитель комиссара бригады Гарзио.

Парень читал, все слушали, а один боец улыбался.

— Чего он смеется? — спросил Станислав.

Людвиг Ренн ответил: «Я переведу слова». И, стараясь говорить в рифму, прочитал по-немецки:

Зачем в тот ясный вечер
потерял я тебя навсегда?
Вот и высохло мое сердце,
как угаснувшая звезда.

Читавший стихи начал объяснять. Но Станислав уже понял.

— Сколько гордости,— сказал он.— Поэт сравнивает свое сердце со звездой...

Все улыбнулись и наперебой начали говорить о Гарсиа Лорке, читать его стихи. А большой круглолицый Пепе, храбрый солдат, начал рассказывать, как фашисты на другой день после прихода к власти в Гренаде арестовали Федерико.

Он совсем не думал, что его расстреляют, и тихо напевал что-то. А они его повезли и убили.

— Он был такой добрый, такой добрый,— печально сказал Пепе.

— Не ко всем,— уточнил Гарзио.— Он был добр к бедным людям, а фашистов он ненавидел.

И он начал читать:

Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
идут, затянув ремнями
сердца из лаковой кожи.

Тихо, задумчиво слушали его бойцы. Сколько раз проходила перед глазами эта картина, а стихи об этом многие слушали впервые.

— Как же они должны были его ненавидеть! — сказал Антонио.

Он был учителем, верил в республику. Когда фашисты подняли мятеж, он оставил школу и пошел в республиканскую армию.

Пепе сказал:

— Пасионария обещала после победы научить всех читать. И все будут читать стихи Гарсиа Лорки. А потом мы ему поставим в Гренаде и Мадриде памятники.

Разговор сразу перешел на Пасионарию. И как она всегда появляется в самых опасных местах, и что ничего не боится, и какие замечательные в Испании женщины. Кто-то даже вспомнил, будто Прието сказал о Пасионарии:

— Жаль, что такая храбрая, умная и красивая женщина не в партии социалистов...

Станислав отошел к другой группе, собравшейся вокруг Яна Ткачева. Тот импровизировал частушки на злобу дня, кончая каждую припевом: «О, боже мой, боже!» В них были слова о Картуз-Березе, о польских дефензивщиках и испанских фашистах. Каждый куплет частушек сопровождался громким хохотом. Суть была не столько в словах, сколько в мимике и жестикуляции исполнителя.

Томашевич шел по лагерю от одной группы бойцов к другой, а в ушах его звучали строки:

Зачем в тот ясный вечер
потерял я тебя навсегда...

Вспомнилась Таня. Маленькая, освещенная неярким светом луны комнатка, Киев, неожиданный приезд к матери. Вспомнился лепет Вадимки, сына... Стало жаль их, потянуло на Родину, в Гомель, к друзьям. «Вот вернусь из Испании,— подумал он,— и тогда...»

О том, что будет тогда, когда он вернется, Николай не успел подумать — столкнулся с Эйхер-Лорке.

— А, парень из Вильно! — сказал Станислав, приветливо улыбаясь.

Он любил этого парня, живого и остроумного. Эйхер-Лорка напоминал ему собственную молодость. С ним можно было просто посидеть, ничего не говоря — он все понимал. Парень из Вильно командовал пулеметным взводом и не терялся в сложных ситуациях. Он был смелым и справедливым человеком, и солдаты верили своему командиру. Оживленно беседуя, Станислав и Эйхер-Лорке пошли по лагерю.

Рождение батальона Палафокс вылилось в настоящий праздник. К именинникам пришли гости из венгерского, французского и других батальонов. И это всеобщее интернациональное торжество, это многолюдье и веселье наполняли душу Станислава радостью. Незаметно, вместе с парнем из Вильно, он опять подошел к группе Яна Ткачева. Людей вокруг него стало еще больше. В это время кто-то тихо подошел сзади и положил Станиславу руку на плечо. Он повернул голову — Рваль!

— Как хорошо! — сказал Густав и глубоко вздохнул.

Рваль знал, что скоро начнется большое наступле-

ние. Он посмотрел вокруг и подумал: «Сколько их завтра ляжет...» Жалость и боль отразились в его глазах. Ему казалось, что каждый из этих ребят — его сын.

Мысль эта передалась и Станиславу.

— Такие хлопцы,— сказал он,— такие хлопцы!..

Судьба, видно, хотела вознаградить домбровщаков за все будущие лишения. В Мадриде в этот день продолжал работу начатый в Валенсии II конгресс в защиту культуры и мира.

То, что честные писатели и деятели культуры решили провести это собрание в Мадриде, где не было места, куда не падали бы бомбы и снаряды, являлось актом мужества и решимости лучших людей из разных стран мира преградить дорогу фашизму.

От дворца, где заседал конгресс, до линии окопов всего каких-нибудь 500 метров. Здание сотрясалось от близких разрывов, но делегаты этого не замечали.

— Братья испанцы! — говорили они.— Мы расскажем миру правду о фашизме и о вас, о вашей борьбе. Мы донесем то, что видим, до ума и сердца каждого. Мы будем добиваться того, чтобы живое и острое беспокойство за судьбу человека, матери, ребенка, которым угрожает фашизм, передалось всем и не давало бы людям покоя ни днем ни ночью.

На конгрессе рядом с коммунистами и антифашистами сидели буржуазные писатели. Бешеный ветер времени, грохот фашистской канонады, пламя беззащитной Герники сделали то, чего не могли сделать тысячи агитаторов.

Приветствовать конгресс поручили батальонам имени Домбровского и Палафокса. Они направили свои делегации. Выступить доверили Збышку Бухгольцу. Обычно он говорил ярко, но никогда еще не видел перед собой такой представительной аудитории. Чаще всего выступал у заводских ворот, во время забастовок. Товарищеские руки подымали его над толпой, и он в течение нескольких минут выкладывал то, что надо.

А пока он говорил, товарищи отбивались от наседавших полицейских, пытавшихся добраться до оратора. Потом его опускали на землю, и полиция его, конечно, не находила.

Збышко привык выступать на массовках в лесу, на партийных и комсомольских конференциях. Но одно дело там, а другое здесь, где собрался форум выдающихся деятелей культуры мира. Они долго обсуждали со Станиславом не речь, а мысли, которые надо высказать. Тогда было все ясно.

Но когда под развернутым боевым Знаменем батальона он вошел вместе с товарищами в зал конгресса, когда все делегаты — самые авторитетные люди мира — поднялись, бурно приветствуя их, неизъяснимое волнение охватило Збышко.

Он стоял, простой двадцатилетний парень, и все эти люди — белый как лунь Андерсен-Нексе, улыбающаяся Анна Зегерс, Вишневский, Эренбург и Толстой — ему аплодировали.

Смотрел на него и Станислав. Синие глаза его как бы говорили: «Не робей, Збышко! Главное начать, а там слова подойдут. Ты ведь свое будешь говорить, выстраданное...»

Большой, широколицый человек наклонился к Станиславу, спросил:

— Кто это?

Станислав, к этому времени знавший испанский настолько, чтобы понять, что интересует соседа, ответил:

— Поляк.

Хемингуэй удовлетворенно хмыкнул. С поляками он уже познакомился.

Овации наконец кончились, и Збышко, глядя в глаза Станиславу, начал. Трудными были только первые слова. Потом все вошло в норму. Практика выступлений у заводских ворот пригодилась и здесь.

Делегаты конгресса не только заседали. Побывали они и на некоторых боевых участках. В бригаду имени Ярослава Домбровского приехали Анна Зегерс, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург. Вместе с Рвалем, Матущаком, Ткачевым и Томашевичем они обошли подразделения, побеседовали с людьми.

Анна Зегерс задержалась в батальоне Палафокс.

— Очень важно для всех нас — крепить взаимоотношения рабочего класса с интеллигенцией, особенно сейчас,— сказала она.

Рваль и Зегерс вспоминали друзей, говорили о братских узах, объединяющих немецких и польских рево-

люционеров. Они подчеркивали особую опасность, которая грозит немецкому и польскому народам в связи с разгулом фашизма в Германии.

— Анна Зегерс,— рассказывал мне бывший командир противотанковой батареи капитан Чиспа — Александр Карлович Березин,— сразу же завоевала нашу симпатию. Не только потому, что она была писательницей, красивой молодой женщиной. У нее была такая простая манера держаться, она так сердечно подходила к каждому из нас, так просто и задушевно рассказывала о своей работе и о товарищах по борьбе, что просто невозможно было не заслушаться.

Но кончался день, и появились первые признаки хорошо всем знакомой тревоги. Начались вызовы в штаб, забегали связные... Через несколько минут все уже знали: под Мадридом началось.

Республиканские войска перешли в наступление.

В любую минуту мог поступить приказ о выступлении и сюда.

Гости сразу же почувствовали изменение обстановки. Их горячо поблагодарили за приезд и проводили обратно в Мадрид.

А на другой день бригада вступила в бой.

НОЧНОЙ ПОХОД

Короткие часы передышек и долгие дни боев. Бои под Уэской, Тардьентой, Теруэлем, Гвадалахарой, Брунете. Беспрерывные, изнурительные бои...

— Разве расскажешь обо всем? — говорит Александр Карлович Березин.— Но ночной поход под Вильямайор никто из тогда уцелевших не забудет. Как не забудут живые и тех, кто там остался.

— Вы о ночной вылазке под Сарагосой? — тихо переспросил меня Фаддей Константинович Воронище.— Памятное место. Там остались такие парни, как Станислав Белецкий, Бобрус...

— Имя Станислава Томашевича я впервые услышал в связи с ночным походом,— говорил мне в Москве в испанской секции Комитета ветеранов войны интербригадовец Алари.

В конце августа 1937 года бригада имени Домбровского находилась в Каспе. Этот маленький городок, имеющий несколько тысяч жителей, приютился у слияния рек Гуадалопе и Эбро... План Арагонской операции предусматривал (для начала) захват укрепленных пунктов: Бельчите, Медьяна, Кинто, Вильямайор, имея главную цель — освобождение Сарагосы. Взятие этого крупного города изменило бы обстановку под Мадридом, отразилось бы на ходе всей войны.

«После... перерыва нарушена тишина в пустынных просторах Арагона. Опять гремят выстрелы, опять идут по дорогам солдаты, белые от пыли, с лицами, багровыми от солнца, опять катятся пушки и санитарные фургоны с ранеными.

Здесь трудно воевать. Жесткие песчаные бугры, иногда до размера гор. На них рыжее мочало выгоревшей травы. И это все. Нет ни дерева, ни куста, ничего, что спасло бы от жары. Нет воды. Ее привозят сюда в цистернах за двадцать километров, из ручья, отвратительную, теплую, мутную воду. Мы подкрашиваем ее вином. Но вино не может перешибить всех дрянных, соленых и землистых привкусов. Но черт с ними, с привкусами! Хоть бы глоток и этой воды, когда все пересохло внутри и снаружи, когда все поры тела забиты песком. Этот горячий слой песка заползает в носоглотку, в уши; трешь глаза грязными пальцами — они воспаляются, солнце прижигает их, и все, что видишь, мелькает оранжевыми и лиловыми пятнами».

Так записал в «Испанском дневнике» 24 августа 1937 года Михаил Кольцов.

В конце августа — начале сентября дивизия генерала Вальтера взяла укрепленный район Кинто, городки Медьяна, Кодо, Пуэбла де Альбартон, Эрмита, Кастильо де Банастро, захватила Бельчите. Успеху дивизии во многом способствовал ночной поход на Вильямайор дель Гальего.

Штурмовать этот укрепленный пункт должны были части дивизии генерала Клебера, в которую входили бригады Домбровского и Гарибальди, венгерский и болгарский батальоны. Лежащий в нескольких километрах от Сарагосы Вильямайор был тогда тактическим рубежом. Заняв его, республиканцы перерезали магистраль Сарагоса — Уэска.

Арагонский фронт не был фронтом в привычном представлении, где была бы четкая линия окопов, обозначающая передний край, где армии стояли бы друг против друга, как, скажем, на мадридском направлении. Ясно видимой позиции, обозначающей войска, здесь не было. Обе стороны укрепились на отдельных господствующих высотах и контролировали оттуда впереди лежащую местность огнем. Под покровом черной арагонской ночи казалось не очень трудным пробраться небольшими группами между опасными холмами на территорию противника. В течение многих месяцев этой дорогой пользовались подпольщики и партизаны Сарагосы.

Условия в этом районе были сложны тем, что подымаемая ветром известковая пыль слепила глаза. Днем изнуряла жара, а ночью мучил холод.

Колонны должны были продвигаться с боями по безводной местности. Необходим был четкий план, который дал бы возможность в короткий срок овладеть этим укреплением. Вариантов было много. Остановились на плане ночного похода.

Ночью группа республиканских войск должна была несколькими колоннами незаметно пройти между вражескими районами обороны.

По этому плану батальоны имени Палафокса и Домбровского должны были двигаться в центре. Бригада Гарибальди обеспечивала правый фланг. Венгерский и болгарский батальоны действовали слева. Исход операции решали моральный дух и дисциплинированность солдат. Важно было, чтобы каждый командир и рядовой боец четко знал задачу своего подразделения и свое личное место в бою, был готов ко всяким случайностям.

А они появились сразу же. Началось с того, что комбат Ткачев с группой разведчиков заблудился и потерял свой батальон.

В отчаянии он хотел пойти один. Командир бригады приказал ему вернуться.

Дальше — больше. Итальянская бригада имени Гарибальди, венгерский и болгарский батальоны нарвались на крупные вражеские части и не смогли преодолеть оборонительный заслон. Вместо восьми батальонов в тылу франкистов оказалось два.

И эти две единицы — батальон имени Домбровского и имени Палафокса — сделали свое дело.

Они нарушили, разрубили коммуникации врага, разбили и разогнали десятки боевых постов, посеяли панику в рядах мятежников и оттянули на себя силы с других участков фронта. Двигаясь по направлению на Вильямайор, батальоны оказались в окружении. Но они меньше всего думали об этом. Преодолевая сопротивление, жажду, зной и холод, они двигались вперед. Связь батальонов между собой и с дивизией с первой же минуты была утеряна. В штабах бригады и дивизии росло напряжение. Все искали средства помочь храбрецам. В глубине души каждый считал погибшим эту тысячу с лишним человек.

А у бойцов этих батальонов было боевое настроение. Особенно тогда, когда они соединились. У них укрепилась надежда, что и остальные батальоны выполнили поставленную задачу. Радость и вера в свои силы овладели людьми, когда, забравшись на высоту, они увидели вдали огни большого города.

— Сарагоса! — улыбались друг другу бойцы.

— Сарагоса! — слышалось везде.

Времени терять было нельзя.

— Вперед, на Вильямайор! На Сарагосу! — передавалась по цепи команда.

После короткого отдыха оба батальона двинулись дальше. По дороге резали провода, рубили телеграфные столбы. Одна из рот натолкнулась на минометное подразделение франкистов. Спустившись с высокого бархана, увидели идиллическую картину: повара раздавали завтрак, рядом стояли минометы. Полетела граната, вторая. Солдаты разбежались, минометы остались на огневых позициях.

Долгое время не знавшие тревоги, даже во сне не видевшие рядом с собой «красных», франкисты растерялись и сложили оружие.

Началось движение с боями. Над головами стал кружить самолет-разведчик.

В 11 часов утра батальоны вплотную подошли к Вильямайору. Бойцы увидели маленькие домики на окраине городка. Дорога Уэска — Сарагоса была перерезана.

И тут все услышали шум мотора. На дороге появил-

ся автомобиль-цистерна. Два солдата, сопровождавшие машину, сразу подняли руки.

В цистерне была вода.

Не успели бойцы напиться, как услышали новый шум: два грузовика с боеприпасами шли к ним прямо в руки. Удивлению франкистов не было предела. Откуда здесь, в тылу их войск, республиканцы? Один шофер-антифашист, как он доложил, насильно мобилизованный и сразу перешедший на сторону прорвавшихся республиканцев, рассказал:

— Скоро здесь должна пройти автоколонна с солдатами.

И, действительно, только успели организовать засаду, как на дороге появились четыре грузовые автомашины и одна легковушка.

Из легковой сердито вылез толстый подполковник-гитлеровец.

— Что за безобразие! Кто посмел задержать? — начал он.

Каковы же были его удивление и растерянность, когда оказалось, что «посмели» республиканцы. Чеслав Петровский не дал ему долго разговаривать — гитлеровец и другие два офицера были разоружены. Солдаты сами подняли руки. Некоторые схватились было за оружие, но по ним ударил пулемет. Шестьдесят человек сдалось в плен. Часть солдат попросилась в батальоны, гитлеровца расстреляли, а остальных отпустили.

Известие о прорвавшихся в тыл республиканцах дошло до Сарагосы. Оттуда под Вильямайор подошла артиллерия и с ходу начала бить по батальонам. Ни с чем вернулись разведчики, уходившие на поиски других частей. Артиллерия прекратила огонь, и франкисты пошли в атаку. Но люди уже успели окопаться, и атака превосходящих сил была отбита.

Стоило это немалых жертв. Пал комиссар первой роты батальона имени Домбровского Стефан Вишневский, погиб комиссар роты Иван Вишняк, контуженный, упал комиссар батальона имени Домбровского Ян Рутковский, ранили Вацлава Комара. Через несколько минут был убит заменивший его Станислав Белецкий, упал пулеметчик Иосиф Рубинштейн.

А бой продолжался.

В чистом небе показалось несколько увеличивающихся точек. Шестерка «юнкерсов» шла на позиции батальонов. Они приближались спокойно, грозно, неотвратимо. Защититься от них было нечем.

Но вдруг, откуда-то сбоку, над фашистскими самолетами появились республиканские «ястребки». Радостные возгласы раздались среди бойцов. А истребители смело ринулись на фашистов, смешали их строй. Бросая бомбы куда попало, «юнкерсы» повернули назад. Крепко вцепившись в них, «ястребки» поливали фашистов огнем из пулеметов. Один бомбардировщик загорелся и устремился к земле. Из него выбросились три фигурки. Однако поднялся с земли только один. Выхватив пистолет, он стал стрелять. Но ему быстро скрутили руки.

Антоний Петрович проверил у фашиста документы.

— Ничего себе цацка,— сказал он подошедшему комиссару.

Перед ними лежал сам комендант авиабазы Сарагосы. Глаза его с ненавистью смотрели на окружающих.

— Поднять его и отправить,— сказал Томашевич.

Но фашист ответил, что он ранен и никуда не пойдет.

— Не пойдет — не надо,— и комиссар сделал столь выразительный жест, что тот сразу поднялся.

То, что два батальона, изнуренные тяжелым переходом, истомившиеся от жажды, обремененные большим количеством раненых, не смогут пробить брешь в обороне фашистов, было ясно с самого начала. И все же люди дрались. В них жила неугасимая надежда: подойдут свои, помогут.

Противник тоже ждал подкреплений, и он их получил. В два часа дня на отряд обрушился новый шквал огня. И тут наступило самое страшное — кончились патроны. Надо было немедленно уходить.

Конечно, вначале надо было вывести из-под огня раненых. И кому-то надо было прикрывать отход.

Первым лег за пулемет Бобрус. За ним легли другие.

Жизнерадостный, любивший песни Бобрус вместе с только что погибшим Белецким организовал в батальоне хор и даже выступал с ним по мадридскому радио. В первый и последний раз он тогда видел Мадрид. Го-

рячий оратор, отважный человек, он в жизни был простым, незаметным.

Вот и теперь, ложась в последний раз за пулемет, он смущенно оправдывался: «Все равно я ранен...»

Рядом с ним лег Алесь Августенок.

А бойцы уходили. Они вели под руки и несли раненых. На усталых плечах лежало оружие. Сзади слышался треск пулеметов. Это их товарищи сдерживали фашистов.

Вначале надо было оторваться от противника, а потом теми же тропинками пробиться назад. Но теперь они были голодны, истомлены жаждой, в кровь были стерты их еле передвигающиеся ноги. Хотелось бросить все, лечь и избавиться от всех этих мук.

Комиссар батальона имени Домбровского Ян Рутковский был тяжело ранен и остался в своем окопчике. Потом Августенок — единственный уцелевший из тех, кто прикрывал отход, притащит его на себе. Его и Вацлава Комара.

Вся тяжесть руководства отходом легла на комиссара Станислава Томашевича. Он то выходил вперед, то оставался позади, внимательно следя за тем, чтобы из колонны, разбившейся на группы, никто не потерялся.

Эйхер-Лорке, уже после наших с ним бесед, в одном из своих писем рассказывает: «Хорошо сохранилось у меня в памяти возвращение из-под Вильямайора и поведение Томашевича в это время. Настроение у нас было не очень веселое. Мы выполнили задание, но не так, как предполагалось. Многих потеряли. Шли усталые, голодные, очень мучила нас жажда. На пути попадались речки с чистой, но соленой водой, которую пить нельзя. А удержаться было трудно... Станислав говорил:

— Не пейте, потерпите. Держитесь группами. Не отставайте ни на шаг.

Ему хотелось сохранить целостность отряда, состоявшего из истомленных, голодных, измученных солдат. Он старался всех подбодрить».

Откуда-то в эту степь прибрел ослик. Один боец взобрался на него, посидел, а потом предложил комиссару:

— Отдохни.

Станислав оглядел колонну, увидел совершенно измученного Петровского и ответил:

— Предложи ему, пусть передохнет.

Чеслав сел на ослика. Длинные его ноги волочились по земле, поднимая пыль. Поднять ноги он уже был не в силах. Посидев несколько минут и почувствовав боль в ногах, он предложил отдохнуть Станиславу.

Комиссар повторил опять:

— Пускай ребята.

Бойцы садились, отдыхали, передавали ослика другим. Потом ему это, очевидно, надоело, он исчез. Так они двигались.

Когда опять увидели воду и кинулись к ней, комиссар закричал:

— Не пить!

Но один уже успел глотнуть и корчился от боли.

— Запрещаю пить! — закричал Станислав и схватился за пистолет.

И тогда один боец истерически закричал:

— Нас предали! В дивизии измена! Где бригада Гарибальди и другие батальоны?..

Некоторые его уже готовы были поддержать. Но тут послышались крики:

— Комиссар, митинг!

И через несколько минут комиссар Томашевич стоял перед ними. Стоял такой же, как и они, измученный, с такими же сбитыми ногами и кровоточащими губами. Только из-под воспаленных век огнем горели глаза. Он говорил негромко, но его слышали все:

— Разве Бобрус, Алесь и Вацлав, оставшиеся у пулеметов, чтобы спасти нас, кричали от страха?

И снова, сохраняя тишину и порядок, ведя под руки раненых, движется колонна. Не было ни одного человека, кто остался бы в пути среди вышедших тогда из-под Вильямайора. Не бросили они ни одного раненого, не оставили ни одной винтовки.

Во время привалов приходилось ставить часовых. Но люди были измучены, и комиссар не позволял себе ложиться. В нем жило высокое чувство ответственности за каждого человека.

Последним прошел он через вражеские посты.

Как счастливы были бойцы! Радовались все — Рваль, Барвинский, Клебер, а также солдаты батальо-

нов, которым не повезло. Многие считали отряд погибшим и были счастливы, что товарищи вернулись.

А они с трудом добрались до казармы и, падая на каменные плиты, тут же засыпали. Они ничего не знали о радиограмме, посланной в штаб армии, не знали еще и о приказе по дивизии, в котором говорилось: «Мы гордимся 45-й дивизией, но между вами, героями, особенно отличились батальоны Домбровского и Палафокса».

Умелые действия и героизм двух батальонов были отмечены в специальной листовке, подписанной Луиджи Лонго. Эта смелая диверсия заставила франкистов оттянуть с других участков фронта некоторые силы. Поход в тыл противника помог частям республиканской армии улучшить позиции, захватить оружие, пленных. Но самой большой победой была победа человеческого духа, силы воли, товарищеской спайки.

Пережитое во время похода комиссар Станислав Томашевич изложил потом в своей статье: «Делай или погибай!»

Отдых. Переформирование. Новое пополнение теперь уже в основном из испанцев. И снова тяжелые бои. Здесь же рядом, под Тардьентой. Все вокруг оледенело. Холодные, пронизывающие ветры, снег.

Станиславу не дает покоя мысль о создании украинского и белорусского батальонов. Рваль поддерживает его. Как это уже было раньше, батальон должен создаваться на базе роты имени Шевченко.

Станислава Томашевича назначают командиром этой роты. Обстрелянный солдат, опытный пропагандист, он не прекращает активной политической и организационной работы. Он пишет письма украинцам, полякам и белорусам в Канаду, Аргентину, США. Призывает: «Товарищи! Все, в ком живет тревога за судьбы человечества,— сюда, к нам! Здесь, в Испании, решается вопрос — быть или не быть фашизму».

Уже октябрь, холодно. Время будто остановилось. Каждый день одно и то же — беспрерывные бои. И вдруг встреча, да еще какая!

Кто-то обронил:

— Здесь Боген.

— Боген? — переспросил Станислав.

Перед глазами возникли годы юности, Белоруссия, комсомол. Выступление товарища «оттуда» в темном зале. Сколько событий промелькнуло за эти шесть лет! Станислав вспомнил полупустую комнату, Богена и Петра, деликатно ему объясняющих, что он может отказаться от своего намерения и никто его за это не осудит.

Как давно это было!

Он снимает трубку и просит к телефону Богена. Объясняет, что этот товарищ недавно приехал, кажется, из Альбасете. Проходит несколько минут, и он слышит знакомый голос. Знакомый и чуть картавый.

Послушаем, что рассказывает об этой встрече сам Боген. Он написал об этом в издававшемся в Альбасете журнале «Охотник вольности» в мае 1938 года.

«Был непогожий холодный день. Стужей дышали Арагонские горы, падал мелкий снег. Около подножия горы лежало разбитое местечко. Издалека доносились звуки артиллерийской канонады. В штабе батальона непрерывное движение. Приходили бойцы, командиры, связные. Вдруг зазвонил телефон. Кто-то звал меня.

Это был Стах Томашевич. Он просил меня прийти к нему в окопы. Связной повел меня к командиру украинской роты имени Тараса Шевченко. Я шел и старался вспомнить, где и когда слышал этот голос. Тут, в Испании, мне очень много говорили о Томашевиче... Будучи политическим комиссаром батальона Палафокс, он прославился как волевой и смелый командир, которого любили все...

Между гор, выгнутая дугой, лежит узкая долина. С левой стороны — скалы, за ними — фашистские позиции. Подходим к окопам. Тесные траншеи ведут к подземным помещениям. В одном из таких помещений находится командный пункт роты имени Тараса Шевченко. В блиндаже мрачно и дымно. Возле стола сгрудились бойцы. Разговаривают с командиром. Идет подготовка к разведке фашистских позиций. Мы молча присматриваемся друг к другу. Знакомое лицо, та же серьезность, те же самые проникновенные глаза. Легкая улыбка затеплилась на его лице. Мы молча пожимаем друг другу руки. Шесть лет как мы не виделись...

Когда в блиндаже утихло, мы заговорили о бригаде,

о их батальоне, о его роте и вообще об обстановке на фронте. А больше всего мы говорили о положении в Польше, о революционном движении, с которым неразрывно были связаны. Вспоминали наших общих товарищей, тех, с которыми вместе боролись. И тех, которые погибли и которых мы больше не увидим...

Потом мы встречались довольно часто. Делились мыслями, планами. Мы знали: что бы ни случилось — всегда найдем опору и помощь один в другом...»

В тот день Станислав в своем дневнике рядом с записью о Богене написал: «Вчера погиб незабываемый товарищ Деменчук. Он приехал сюда из далекой Аргентины».

Все, кто бок о бок дрались с Томашевичем за счастье людей, были для него незабываемы, одинаково дороги. Он переживал потерю каждого бойца тяжело и долго. Да и как было не переживать. Только успел сдружиться с человеком, всесторонне узнал его, а его уже нет. Разгорается бой, и падает друг... Падает, как Бобрус, как Станислав Белецкий, как Иосиф Рубинштейн, как Иван Деменчук. Сколько людей он потерял, и каких!

А теперь от них уезжает Рваль. Лицо его, ставшее в последнее время совсем желтым, светится пятнами нездорового румянца. Известие о том, что его вызывают в Москву, озадачило старого подпольщика.

— Как некстати сейчас этот вызов,— говорит он Томашевичу.

Станислав смотрит на него. Душа его тянется к этому высокому, худому человеку. Месяц тому назад был отозван в Москву Казимир Циховский. И вот теперь вызывают его...

Тревога обелила и без того бледное лицо Рваля. Он положил обе руки на плечи Станислава, обнял его. Потом сказал:

— Бывай, брат, бывай!

И ушел своей журавлиной, качающейся походкой.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Не осрамила бригада имени Домбровского знамя народного фронта Мадрида, а солдаты батальона имени Палафокса — знамя социалистической партии Катало-

нии. Социалисты Каталонии — передовой отряд борющейся Испании. Объединившись с коммунистами, они стали подлинными защитниками края. Кабальеро сказал: «Их объединение — наше поражение».

Последние недели бригада, а с ней и батальон Палафокс, почти не выходит из боя. И вдруг передышка. Группа войск, в состав которых входит и бригада имени Домбровского, перебрасывается на Эстремадурский фронт.

Здесь, в Эстремадуре, комиссар и командир Станислав Томашевич дает последний бой фашизму.

«Трудно сказать, какая провинция в Испании беднее других... Бедна суровая Кастилия, с ее скалами, голыми, как судьба, с ее крохотными деревушками, забытыми всеми... Бедна Андалузия, несмотря на солнце и на маслины, на виноградники и на море, бедна, как страна, по которой прошли завоеватели, как изба, из которой выволокли все до последней лоханки; вместо кастильского гороха здесь «гаспачьо»... подлили малость деревянного масла, накидали корки хлеба — это обед и это ужин. Бедны и Арагон, и Ламанча. Трудно потягаться с ними, и все же особенно бедной кажется мне ... Эстремадура».

Эти грустные строки Илья Эренбург писал в 1931 году, после провозглашения Испанской республики.

Прошло пять лет. И вот по пробковым рощам, пшеничным полям и свинцовым рудникам Эстремадуры шагает гражданская война. Бадахос — небольшой городок на португальской границе, до которого раньше никому не было дела,— стал важнейшим центром мятежников.

Подручные Салазара открыто помогают фашистам Франко. Предательски захватив в августе 1936 года Бадахос, франкисты сделали его главной артерией снабжения из-за границы.

Франкисты чувствуют себя в Португалии как дома. С первой же минуты мятежа в отеле «Авис» в Лиссабоне размещается штаб представителей мятежников во главе с генералом Санхурхо. Все его требования португальское правительство выполняет безоговорочно, Санхурхо — фигура, на которой сходятся и старые монархисты и «молодые» фашисты.

Раньше генерал возглавлял королевскую жандар-

мерию. Республика оставила его на этом посту. Но в 1932 году после организованного им фашистского путча приговорила к смерти. Потом он был помилован и через некоторое время сбежал в Португалию.

Эта кандидатура устраивает всю испанскую реакцию, но Гитлера больше устраивает генерал Франко.

— Это самый надежный и проверенный друг рейха и преданный вам человек,— говорит Гитлеру начальник имперской разведки Канарис.

И тогда самолет, на котором летит генерал Санхурхо, взрывается.

Удивительное дело — Санхурхо погибает, а летчик живой и даже не ранен.

— Как это случилось? — спросили летчика английские журналисты.

— Сам удивляюсь,— пожал он плечами.

— Не думаете ли вы, что здесь диверсия?

— Возможно,— ответил летчик.

Генерала Санхурхо заменяет в Лиссабоне брат Франко — Николас. Лиссабонский порт становится перевалочной базой и одной из главных артерий снабжения мятежников оружием и солдатами. Через лиссабонский порт течет из Америки горючее для Франко. Военные заводы «Банкарони» и «Бенфика» отдают мятежникам всю свою продукцию.

Правительство Португалии предоставляет мятежникам все: от валюты, которую она обменивает на обесцененные бумажки, до португальского пушечного мяса.

Николас Франко распоряжается здесь как в своей вотчине.

В начале мятежа крестьяне-республиканцы бегут через границу. Они ищут спасения на португальской земле. Ведь там посольство Испанской республики! Их принимают.

А потом? Потом выдают франкистам, и те их расстреливают.

В первые же дни мятежа немецкие пароходы выгружают в лиссабонском порту военное снаряжение для мятежников. Как установил лондонский комитет, созданный в те дни в связи с интервенцией фашистских государств в Испанию, все португальские аэродромы были предоставлены в распоряжение мятежников.

Отрубить эту протянутую франкистам фашистскую лапу, отделить португальскую базу от мятежников — значило коренным образом изменить военную обстановку в Испании.

Республиканское командование решает организовать диверсионную операцию на Эстремадуру, закрыть границу с Португалией.

В январе 1938 года бригада имени Домбровского в составе группы войск перебрасывается из Арагонии в Эстремадуру.

Бодро двигаются солдаты по новым для многих из них местам.

— А ну, хлопцы, заспеваемо,— говорит комбат, обращаясь к бойцам роты имени Тараса Шевченко.

И долины Испании оглашает протяжная украинская песня... Ее сменяют другие. Эти песни бойцы вынесли из Полтавщины и Волыни, пронесли сквозь эмиграцию и тюрьмы.

К 13 февраля группа войск, которой командует генерал Вальтер, сосредоточилась в указанном районе. Части получили новое пополнение. Получила его и рота имени Тараса Шевченко. Сейчас она — мощный отряд.

15 февраля группа прибыла на место. Бойцам дан небольшой отдых — штабы лихорадочно работают. Прибывшие войска должны на рассвете вступить в бой. Наступление должно быть неожиданным. Слишком большая концентрация войск может обратить на себя внимание противника.

Штаб группы войск собирает командиров и комиссаров. Боевой приказ доводится до каждого подразделения.

Вечером 15 февраля Ян Ткачев проводит совещание командиров и политработников батальона. Не знает Ян, что многих из них видит в последний раз.

— Главное — не повторять ошибок Вильямайора, — говорит он.— Такая интересная была операция, а отсутствие связи ее испортило. Ни в коем случае не отрывайтесь друг от друга. Держите связь, чувствуйте локоть товарища. Как только батальон имени Мицкевича обойдет позиции противника с тыла, мы будем бить его в лоб. Рота имени Ботвина получает сегодня боевое крещение.

Станислав сидит рядом с командиром новой роты Карлом Гутмановым. Он пришел сюда из Картуз-Березы. Опытный подпольщик, Гутманов, как и большинство бойцов новой роты, обстрелянный боец. Сегодня они дерутся во вновь созданной роте имени прославленного польского революционера. Полтораста ботвиновцев вступают в бой с фашистами.

Рядом с Карлом примостился Ёна. Голубые глаза его безмятежны, он спокойно слушает комбата.

— Как, малыш, дела? — спрашивает его Станислав и, не ожидая ответа, тихо говорит Карлу: — Побереги его, не пускай от себя слишком далеко.

— Попробуй! — говорит Карл.— Как только бой, он как молния срывается с места. Глядишь — он уже где-то впереди.

Станислав улыбается и говорит, помахивая пальцем:

— Не зарывайся, парень.

— Конечно, конечно,— соглашается тот и тоже расплывается в улыбке.

Не знают они, что сегодня их последний бой. Не получат уже Марта от Ёны, жена Ткачева от Яна, Мария Антоновна и Таня от Станислава писем из Испании. Долгими ночами будут они ждать и думать о них, пока не узнают всю правду.

Но это будет потом, а сейчас майор Ткачев снова напоминает:

— Помните, Карл, Станислав,— он называет имена командиров других рот,— эта операция очень похожа на Арагонскую. Не повторяйте ошибок той вылазки. Ну вот, как будто и все. Ясно всем?

— Ясно! — ответили командиры и комиссары рот.

— Теперь идите к людям. Хлопцы у нас обстрелянные,— заканчивает Ткачев.— Под Теруэлем показали себя хорошо. Главное — не выдавать себя до времени противнику. Умело маскироваться, использовать всякую кочку, ложбинку. Каждый боец должен знать свое место и задачу в бою. Начинаем перед рассветом. Сигнал известен. Салют!

Станислав пожал Карлу руку. Лицо у того взволнованное. «Первый бой в качестве командира роты. Волнуется,— думает Станислав.— Ну, с таким рядом воевать можно».

Наступило утро 16 февраля. Большое эстремадурское солнце едва успело позолотить вершины Сьерры Морены, а передовые укрепления уже были взяты. Бой переместился в глубь обороны противника.

Неожиданная атака с двух сторон — с тыла и в лоб — ошеломила франкистов. И хотя фашисты яростно огрызались, воля их к сопротивлению была сломлена. Бойцы бригады имени Домбровского ринулись вперед.

На одной из только что отбитых у врага высоток стоял командир батальона Ян Ткачев. Лицо его раскраснелось, он был возбужден и по-настоящему счастлив. Еще бы! Такое бывает не часто. Штыком и гранатой, без единого артиллерийского выстрела были взяты сильно укрепленные позиции противника.

— Слава богу, кое-чему научились,— удовлетворенно сказал Ткачев.— И, обращаясь к одному из связных, добавил: — Владик! Иди к командиру бригады и доложи, что батальон Палафокс свою задачу выполнил. Продолжаем наступать в заданном направлении.— Потом сказал остальным: — Как только потребуюсь, ищите меня на той высотке,— он показал рукой.

Отдав распоряжения, Ткачев сказал, кому надо остаться с адъютантом, а сам с несколькими солдатами пошел вперед.

Не успели они сделать и несколько шагов, как их догнал связной из роты имени Ботвина. Подошел и адъютант с работниками штаба. Связной доложил: рота Ботвина прорвалась к фашистским позициям. Захватила артиллерийские орудия и пленных, в том числе несколько офицеров.

— Молодцы! — воскликнул Ян. Глаза его светились радостью.— Первый раз в бою — и такой успех.— Он забеспокоился: — Однако не слишком ли далеко они продвинулись вперед? — Командир батальона начал расспрашивать связного, разложил перед ним карту, но тот в ней не разбирался.

— Тадеуш,— сказал Ткачев адъютанту,— пойди сам и посмотри на месте. Потолкуй с Гутмановым, посоветуй ему далеко не зарываться, ориентироваться на Мицкевича и держать с ним связь. Орудия немедленно отправить в тыл. Если нет коней или мулов, запрягите ослов. Действуй, не теряя ни минуты.

Адъютант со связным роты Ботвина ушел. Ткачев постоял еще немного, крикнул ему что-то вдогонку, но тот не обернулся.

Тогда он махнул рукой, поправил гимнастерку и сказал:

— Пошли!

Узкая каменистая тропа вела на высоту. Чем выше они поднимались, тем отчетливее слышался шум боя. Через некоторое время они остановились передохнуть. До них донеслись отзвуки рвущихся гранат и громкие крики.

Командир батальона приложил к уху ладонь и прислушался. Потом улыбнулся и сказал:

— Молодец, Станислав!

Едва они поднялись на небольшое нагорье — сразу наткнулись на Томашевича. Отдавая распоряжения, он направлял вперед взвода. Красный от возбуждения, Станислав схватил Яна и расцеловал.

— Победа! — крикнул он.— Победа!

Томашевич дал указания командиру первого взвода, а сам с Ткачевым пошел на наблюдательный пункт, рассказывая ему по дороге о ходе наступления. Когда они оказались у начала спуска, глазам их открылась возвышенность, господствовавшая над всей местностью. Отлогие ее склоны и долина поросли густыми бурыми травами, кустарником. Ян поднял к глазам бинокль. Долго смотрел он, будто процеживая глазами каждый кустик, каждую травинку.

Казалось, что здесь никого нет.

— Надо занять это место,— сказал Ткачев.— Заняв его, мы возьмем под контроль большой участок. Сделать это надо немедленно, пока они не одумались. Дай бойцам лопаты, пусть роют окопы. Я пошел.

Эх, майор Ян Ткачев! Только что ты послал адъютанта к роте Ботвина предупредить не зарываться, проверять огнем каждый клочок земли. Послал бы в разведку один взвод, а остальных оставил здесь, в боевой готовности. Разве бы случилось такое?

Но командир батальона ушел вперед, а за ним пошли Станислав Томашевич и бойцы с лопатами. Станислав, как и его друг Ян, тоже забыл о том, что их не один уже раз подводило. Как и Ткачевым, им в эту минуту овладело единственное желание: быстрее

освободить от фашистов еще одну пядь испанской земли.

Ничего не подозревая, в полном молчании идут они по высокой, скрадывающей шаги траве. А за ними из этой предательской травы и кустов следят сотни притаившихся глаз. Бойцы прошли за майором и своим командиром еще некоторое расстояние. И вдруг эта трава, это тихое поле огласились дикими криками и зароились марокканскими кавалеристами. Земля застонала от топота лошадиных копыт. Всадники выскочили из засады, вопя и стреляя на скаку, размахивая кривыми саблями.

Растерявшиеся в первое мгновение шевченковцы пришли в себя. Они открыли стрельбу с места, начали забрасывать конников гранатами. Только несколько кавалеристов прорвалось сквозь цепи роты, остальные повернули назад.

Командир батальона майор Ткачев упал смертельно раненный.

— Отступать к вершине! — крикнул Станислав.

Но было уже поздно.

Из-под самого склона, прямо им в лоб, несется новый отряд марокканцев. Бойцы повернули обратно.

Сгрудившись вокруг своего командира, шевченковцы дерутся в окружении.

Но слишком неравны силы. В последнюю минуту, когда марокканцы уже окружили командира и с ним небольшую группу шевченковцев, раненный несколько раз Станислав бросает им и себе под ноги гранату...

Что было дальше, никто не знает. Мало кого удалось опознать потом среди множества тел своих бойцов и вражеских солдат. Так же, как не нашли тела Яна Ткачева, не опознали среди убитых и Станислава Томашевича.

А его письма продолжали жить, доходили до адресатов. Из Аргентины и других мест, где жили белорусы, украинцы, поляки, ехали в Испанию люди.

Ехали, чтобы сражаться против фашизма.

Они приходили в бригаду имени Домбровского и спрашивали:

— Где комиссар Станислав Томашевич?

Им рассказывали, и их лица темнели. Они брали оружие, шли в бой.

Вот и заканчивается мой рассказ о гомельском пареньке, чей жизненный путь начинался в бурное революционное время на тихой улочке Залинейного района города Гомеля и закончился в далекой Испании, в горах Эстремадуры. Три с лишним года был он со мной, и мне грустно теперь с ним расставаться.

Но прежде чем поставить точку, я должен поделиться впечатлениями о вечере в Гомельском Дворце культуры имени Ленина. Он состоялся почти тридцать лет спустя после описанных событий. Большой, ярко освещенный зал был полон молодежи. Много было и пожилых людей.

Толя Гречаников, секретарь горкома комсомола, открывший этот вечер, сообщил, кто сидит рядом с ним. Когда он произнес имя Марии Антоновны Дворниковой, весь зал встал и долго аплодировал 82-летней женщине — матери Николая Дворникова.

Она стояла в президиуме, опершись на палку, а перед ней в эти секунды проходила жизнь ее Коленьки. Вот прибежал он возбужденный: «Меня приняли в комсомол!» А потом гневное: «Или я, или они!..» Вот, плача, собирает она его в Тереховку. А вот он обнимает ее и говорит: «Уезжаю, мама, далеко...» Потом его короткие наезды. Письма из Парижа, из Испании... Длинные тревожные ночи. Ожидание. Сводки о боях. А потом безмолвие, горе, которым не с кем поделиться.

И вот сейчас этот большой зал, эта масса людей, которые пришли почтить память ее сына.

Гречаников не объявляет о ее выступлении, он только пододвигает поближе микрофон.

Зал замирает. Сейчас будет говорить мать.

— Друзья мои! Мой сын был коммунистом. И всегда шел туда, куда посылали его сердце и партия. Спасибо вам всем, что вы не забыли его,— сказала Мария Антоновна.

Мне тогда вспомнились строки Валентина Тавлая о приехавшем в Мадрид хлопце, что «ушел из хаты в этот путь»:

Ушел, тебе оставив слезы,
Ушел, чтоб не вернуться к нам —
Ни к Белоруссии березам,
Ни к тихим матери рукам.

Но он вернулся. Вернулся, овеянный легендами. Вернулся, чтобы навсегда поселиться в сердцах своих современников. Ибо он всегда современник тем, кто молод и смел, кто борется за счастье людей.

А потом выступил Николай Семенович Орехво — один из тех, кто дал Николаю Дворникову путевку в большую жизнь.

Бригадир «Гомсельмаша» Иван Остапкин, которого Дворников когда-то готовил к поступлению в комсомол, сказал:

— Жаль, что нет его с нами, на этой трибуне, во Дворце, который он строил.

И как бы отвечая ему, секретарь горкома партии Борис Матвеевич Томашев сообщил:

— В новом районе города лучшей улице будет присвоено имя Николая Дворникова. На стене завода, который он строил, и на доме, где он жил, будут установлены мемориальные доски.

Кто-то крикнул:

— И на Дворце культуры, где работал Коля, тоже надо!

Зал ответил дружными аплодисментами.

Я смотрел на этот зал, в эти молодые, широко открытые глаза, в эти лица, на которых лежал отблеск жизни и дела товарища Герасима — Станислава Томашевича — Николая Дворникова, и думал: «Живет Коля Дворников и будет вечно жить в этих сердцах. И однажды весенним утром молодые девушки и парни придут к дому, где жил Коля, к заводу, который он строил, пройдут по улице его имени и скажут:

— Здравствуй, Коля! Здравствуй, Дворников!»

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья







Цена 48 коп.


Я. ДРОБИНСКИЙ
ОТ ГОМЕЛЯ ДО ЭСТРЕМАДУРЫ